

Дома без икон

Накануне Пасхи Томка по прозвищу Чисто Чёрт драила, мыла-скоблила, стирала, отбеливала, крахмалила, гладила — наводила порядок. Основательно, сосредоточенно, с упоением. Как и у любой толковой домовитой бабы в деревне, работы у неё и так сроду столько, что не продохнуть, но уборка к Пасхе — святое!

Внутри у Томки разливался небывалый подъём, даже ликование. Благодушная радость струилась из глаз её в таком количестве, что если стоять рядом и собирать в ведро или в кадучку, а потом разливать по бутылкам, то всей пустой тары, скопившейся в сарае за зиму после двух, как ей казалось, нескончаемых — по месяцу — запоев сожителя Лёньки Крота, не хватило бы.

Она никогда не тяготилась этой работой, сжилась с ней, выросла в неё всем своим существом, но особенно руками, выполняя её последовательно, спокойно и основательно, терпеливо и с уважением к себе и к этой работе, и себя без неё даже представить не могла. Томка не чувствовала ничего такого, жертвенного, что ли, похожего на надоевшее, монотонное занятие,

выполняемое по необходимости. Она, конечно, могла поворачать, а то и по-материться, дёргая крючком утоптанное слежалое сено на сеновале, вычищая навоз за коровой и поросёнком, но это ровным счётом ничего не значило. Работа по хозяйству не вызывала у неё ни особенных радостей, ни тем более хоть мало-мальски неприятного или натужного какого-нибудь чувства. Она не воспринималась ни как обязанность, ни как удовольствие. Она была важна, жизненно необходима и привычна, как дыхание, питание или сон.

В деревне жизнь и так на работе обеими ногами стоит, хоть её же, жизнь эту, работа нескончаемая и непосильная, и убивает... Безнадёжно. Но она и силу даёт, каждый день требуя, превозмогая лень и недуги, возрастную немощь и всё прочее, снова и снова выходя на свой скотный двор, в огород, на полосу с засаженной картошкой, на сеновал, да ещё и дом содержать в чистоте и порядке. Так уж оно выходит, как ни крути, что счастье человека, живущего на земле, ею кормящегося и с нею сроднившегося, почитающего её как сакральную ценность, — выстраданный труд. Тот самый, как в священном огне закалённый в горниле каждодневного преодоления, всё больше до изнеможения, и требующий такой безоглядной самоотдачи, которая сравниться может разве что с бескорыстным самоотречением.

Деревенский простой нескончаемый труд давал Томке осознание своей ценности и полезности для той жизни, которую Томка жила. Ещё он давал удовлетворение и уверенность в том, что всё тут держится на ней и станет без неё невозможным, да, собственно, и ненужным. Тихая радость в её душе поднималась каждый раз, когда она видела, как жадно едят коровы и свиньи, как чисто у них в стойлах и клетях, как лоснится шерсть на спине у любимицы Марты и как быстро набирают вес и растут поросята и телята.

Труд приносил свои многострадальные и благословенные плоды, и Томкина жизнь была в свете этого труда исполнена величайшего смысла. Нет, конечно, её жизнь не была создана лишь для него, но ничто не могло сравниться с этим трудом по степени того воодушевляющего и животворящего начала, которое он в себе скрывал. Ведь что бы ни случилось, а выполнять его требовалось обязательно, безотлагательно, с полной отдачей, часто не ожидая скорых результатов. Вот такое тяжкое, горькое счастье, но всё ж счастье — в этом никто из селян не сомневается, а иначе тогда и незачем было бы жить начинать, а прожигать жизнь тут не привыкли.

Работа эта, вечная, подчиняющая себе, конечно, могла поработить кого угодно, но, прежде всего, того, кто занимался ею иначе, как, к примеру, Томкин сожитель Лёнька Крот. Она только страдала от его неумелых рук, и выполненная не до конца или без должного усердия и ответственности и перед собой, и перед ней, работой, проклинала его, наверно, за такое отношение к себе, становясь неблагодарной, тяжёлой и противной. Томка не раз пыталась объяснить это Лёньке, но слов не хватало, да и он не больно слушал, и она отступилась. Тем более, что не один Крот такой теперь.

Вообще в деревне и не заметили, как всё постепенно стало как-то само собой упрощаться, утрачиваться, забываться... Было-было, столько лет, что и не упомнить, просто по народной мудрости и вековой традиции, без вопросов и причин, но сломалось, что ли, вдруг, провалилось куда-то, как споткнувшийся ходок в канаву на обочине дороги. Затерялось, и те, которые помоложе, уже и не помнят, думают, что так, как теперь, всегда и было. Старые привычки и обычаи позабыли, а новые не нажили. Только внешнее поменялось: заклеили потолки пенопластовой плиткой, повесили китайские люстры с цветочками, цепочками, бабочками, плафонами из мутного стекла, а пол, чтобы мыть легче, застелили линолеумом. Вроде даже наш, отечественный, хоть и воняет химией, зато буграми не топорщится. Ковры повывцели, фотографии давно вешать на стены перестали — немодно, иконки и ладанки из углов тоже поубирали. Церковь есть почти в каждой деревне, или в соседней неподалёку, хоть и маленькая, а своя, туда теперь принято к иконам ходить — всё больше по праздникам, правда. В переднем углу, как раньше, их выставлять не с руки стало, неловко даже вроде, чтоб когда-никогда перекреститься утром-вечером, да с верой каждый день жить, а не только по православному календарю. Вот как стало, в Бога верить — модно,

а иконы — вон из переднего угла — в комод, в ящик, а то и совсем из дому. И ведь не за ненадобностью, а так, по причине, которой никто толком и объяснить, наверно, не сможет, а то ли и вовсе без причины.

В домах на стенах теперь пусто. У некоторых, как у Томки, к примеру, ещё местами прикрывали углы над кроватями-диванами ковры, когда-то в долгожданную честную очередь полученные за выполнение и перевыполнение планов по надоям, урожаям, выращиванию молодняка разной степени рогатости... Это прошлое в памяти завалилось куда-то в такой дальний угол, и уже настолько глубоко, что кажется порой неправдоподобным в своей наивности и безупречной верности тем идеалам и ориентирам, которые считались единственно правильными и непогрешимыми. Теперь это в памяти улеглось, осело чем-то почти сказочным, мучительно-несбывшимся и похоронившим под собой молодость и здоровье, а заодно и счастье всей жизни, грёзы о лучшей доле. Осталось лишь смиренное понимание того, что в труде, собственно, заключалось то самое счастье сельского жителя, про которое говорят.

На окнах — аляповатые занавески с дешёвыми ламбрекенами, ширпотреб, конечно, но с “претензией”. Обои на стенах всё больше виниловые, у которых есть одно важное преимущество перед белёжкой и покраской — они хорошо моются от мух, их можно при этом даже тереть хоть щёткой, ничего не будет, только чище станут. Удобно, но пахнет не дымком из печи и не деревом, а поливинилхлоридом и прочей гадостью, но уж лучше нюхать, чем каждый раз после лета комнаты выбеливать и красить заново. Хотя, может, это и не обои вовсе так воняют, а пластиковые окна, в деревенских домах ставшие чем-то вроде признака достатка хозяев. Удобные, с деревянными-то рамами и подоконниками не сравнить: белое всё, как у городских, аккуратное, и ухода не требует. Поставил и забыл лет на десять, а то и больше, пока не пожелтеют, и не поведёт их кривь и вкось. Но и тогда менять не торопятся: пойдёт и так, потерпим ещё год-два, а там видно будет.

У Томки пластиковые окна были в большой комнате и в спальне, а на кухне так и остались старые, денег не хватило, зато, как только по кредиту за окна расплатилась, кухонный гарнитур поменяла. Снова пришлось ввязаться в кредит на два года, но она в душе сильно не переживала. Успокаивалась тем, что пока работает, должна успеть выплатить. Должна, а то, как пенсия потом придавит — всё, и эта лавочка закроется. Так и вышло, и доживала теперь Томка, сводя концы с концами лишь за счёт хозяйства, да радуясь время от времени праздникам. Пасху она особенно любила, и не только она, — все в Уздечкине готовились к ней с особенным душевным подъёмом.

Да, так уж принято в деревнях, что святой праздник надо встречать в чистоте, порядке, а не только разговляться. Постился, правда, мало кто, но к уборке подходили ответственно. Навязав за долгую зиму носков, шалей и кофт из козлиного пуха и овечьей шерсти, насмотревшись хоть и слезливых, но одинаковых до тошноты сериалов, и горластых, на дурака разыгранных шоу, старухи и бабы рьяно принимались с первым худо-бедно устоявшимся теплом наводить марафет. Первым делом открывали и мыли окна. Те, у кого ещё сохранились деревянные рамы и подоконники со вздувшейся и местами облупившейся краской, обдирая руки, ругаясь, наводили и на них заметную ещё красоту, хоть и уступающую пластиковым собратьям, но всё же вполне себе видимую. Полотенцами, намотанными на швабры, тёрли потолки и стены, подбеливали потолки в кухне и печи мелом и известью. Добавляли к белилам синьки, от которой “голландки” становились так ослепительно белы, настолько кипенно-чисты и свежи, что своими едва уловимыми матово-лиловыми оттенками походили на хрустящий новизной с синеватым отливом тюль, ещё не видевший солнечных лучей, пыли и кухонного смрада.

Перебирали кухонные шкафы и буфеты, отмывали от заветренных пятен, оставленных бутылками с подсолнечным маслом, наводили пахучей дешёвой “Белизной” первозданный вид полочек и ручек, избавлялись от треснувшей и пришедшей в негодность посуды, соблюдая наказания ещё своих бабок и прабабок. Те учили не держать в доме чашки с отколотыми ручками, тарелки с отколками и трещинами, ржавую посуду, которые не пускали в дом достаток и благополучие, а притягивали неудачи и бедность. И хоть времена шли,

а ничего к лучшему не менялось, но в наказы предков продолжали верить, больше, правда, из уважения к традициям, а не к мудрости пращуров.

Били палками на улице матрацы и подушки, трясли коврики, колошматили мягкие сиденья стульев, которые служили скорее украшением переднего угла, чем использовались по назначению. Мыли от пыли чайные и столовые сервизы и вазочки, выставленные в сервантах, про которые и вспоминали-то лишь в канун уборки, да если случались какие гости особенно знатные, заезжие сюда раз в двадцать лет либо случайно, либо по большой какой-нибудь надобности. В последние года если в эти края и заносило кого попутным, а чаще шальным ветром, то в лучшем случае проверяльщики показаний счётчиков электричества, наезжавших время от времени из райцентра, а в худшем — жуликов и негодяев из города. Последние, ни стыда у людей, ни совести, ехали сюда по плохим дорогам в расчёте втохать местным за тысячи дрянную копеечную ерунду, в основном, электрочайники или кустарной сборки аппаратики в маленьких коробочках, с их слов, диковинным образом разом исцеляющие от всех болезней. Но иссушенные трудами селяне в это не верили, да и денег на приобретение “чудес техники” не имели. Уж они-то знали, что им, бедолагам, если на кого и надеяться, то на одного Господа, милосердно проделавшего им трудную беспрсветную жизнь за их добросердечность, немислимой тяжестью каждодневную работу и искренние молитвы. Они, вычитанные в “Молитвословах” или своими нехитрыми, простосердечными словами высказанные, до Него доносились и Он их слышать-то слышал, да не всегда мог помочь, потому как просьбы носили всё больше характер материальный, прагматический — денег, водки, досок на сарай, да сена чтоб накопить побольше, а не сил для жизни, не прибавления ума, не духовного прозрения или какого благодеяния. А Господь-то всё больше к истине направляет, сподвигает на развитие, на духовное совершенствование, на добрые дела и слова. Молитву Ему вознести — невелика наука, — заучил и тверди перед иконой, вроде как и всё.

Раньше знали, чтоб вознести молитву, надо самому наперёд очистившись, всю душу сначала открыть Отцу небесному, поблагодарить за то, что имеешь, чем он тебя до сего дня одаривал, а уж потом только с тихими и скромными просьбами обращаться. Ну, а чтобы достичь того, о чём просили, данной Им силой подкреплённые, бросались после в пучину трудов, в том числе и тех, которые надо совершить сначала над самим собой. А теперь... Кто его знает, разучились, может, молиться. То ведь не ритуал, не читанное наизусть стихотворение, и даже не сердечная просьба. Молитва для того, чтобы отрешившись от всего земного, прикоснуться к Божественному священным благодарственным словом, произнесённым Духу Господнему духом человеческим, грешным и слабым, чтобы, будучи услышанным, получить от него ответ на свой вопрос или помощь в просьбе. Но помощь не машиной досок, возом сена или кошельком с деньгами, свалившимися с неба, и тем более не ящиком водки, а силами, чтобы заработать на это, и благословением на праведное дело, каким употребление водки, к примеру, не назовёшь. Но скажите про это, допустим, Лёньке, он и слушать не станет. Тоже пристрастился по праздникам в церковь ездить. Молился о здравии себе и Томке, о хозяйстве, ну, и, разумеется, чтоб Господь посылал чекушечку, когда хочется, а хотелось частенько. Хотя, грех жаловаться, посылал, и, если бы не Томка, то и почаще бывало б, потому Лёнька благодарил иконы от всей своей уставшей за долгую неустроенную жизнь души, прикладываясь к ним с полной ответственностью и большой надеждой. И теперь, за неделю до славной великой Пасхи, каждое утро просыпался с приятным пониманием того, что скоро опять поедет в соседнее Лаптево, покается батюшке Артемию, причастится, поблагодарит, попросит... Поцелует иконы и будет жить дальше с миром в душе столько, на сколько Господь сподобит, и так, как наставит. Впадая время от времени в свою слабость, которую не в силах был преодолеть ни сам, ни при Господней помощи, и, получая за неё от Томки, Лёнька каялся в этом своём великом грехе искренне и на полную катушку. Но, видать, тут и Господь был бессилён, по крайней мере, так решил для себя Шабашник и успокоился.

Так уж случилось, что однажды занесло его в Уздечкино. Подлеповатый, глуховатый и нелюдимый, он вполне соответствовал своей фамилии — Крот. Большую часть жизни он скитался, бомжевал, зарабатывая на жизнь рытьём колодцев, траншей под заливку фундамента для домов и прочими земельными работами, поэтому местные, недолго думая, прозвали его Шабашником. Обустроив в деревне несколько колодцев, он тут и остался, весьма удачно прибившись к Томке, как бездомный замшелый кутёк к крепкому двору. Лёнька не жаловался: впереди была старость, рыть колодцы с каждым годом становилось всё тяжелее, вот он и осел в доме у простой доброй бабы, ставшей для него вроде как супружницей. Пожалуй, Томка стала этому вечному бродяге не просто подругой жизни, но опорой, последней мужичьей радостью и его гордостью, потому как о такой хозяйственной и во всех отношениях роскошной и достойной женщине он никогда в жизни и мечтать не мог. К тому же, он обладал тем уникальным эксцентрическим даром, который напрочь отсутствовал у всех Томкиных бывших, с которыми она не сжилась. Каждый раз, а это случалось по нескольку раз на дню, он невозмутимо выслушивал всё, что она несла в его адрес. И делал это с такой же небывалой лёгкостью и невозмутимостью, с какой только у него из всех мужиков деревни на спор получалось курить, едва придерживая окурок одними губами, и стряхивая языком пепел, не касаясь пальцами. Перед тем, как сплюнуть бычок на самом излёте его годности, Лёнька ещё раз умудрялся виртуозно, с особым наслаждением затянуться, выгтянув в финальной затяжке весь, по его мнению, особенно ценный и самый терпкий дух, наверно, до последней молекулы. Как бы там ни было, но именно свойство пропускать мимо ушей Томкины вопли позволяло Кроту третий год кантоваться у неё в сытости и тепле. Он присмотрелся к ней и понял, что Томка Чисто Чёрт вполне сносная баба, которая, несмотря на крутой нрав, его искренне по-человечески жалеет, приютив, худо-бедно обихаживает и даже за пьянство со двора не гонит. Шабашник жил у неё, но сильно уматываясь с хозяйством и вообще не особенно задумываясь о жизни, которая его, неисправимого бродягу и пьяницу, никогда не жаловала. После появления Крота в её доме, с лёгкой руки местных, Томка получила ещё одно прозвище — Дюймовочка.

Перед Пасхой они с Томкой старались держать пост, но не осилили послушания. Лёнька ещё, как правило, не выдерживал сухого закона. В этом же году он держался изо всех сил, чтобы не сорваться, отвлекая себя всяческими делами, какие ему придумывала Томка, сам себе придумывал, и всеми теми, что выполнял изо дня в день. Оставалось вытерпеть последние дни, и это давалось особенно тяжело.

Повоевав с пылью и грязью в комнатах, Томка добралась до кухни. Разобрала всё до последней ложки и вилки, повыворотила всё из шкафов, будто ураган пронёсся: плита отодвинута от стены на всю длину шланга, по которому идёт газ, стулья — в углу друг на дружке, табуретки — пирамидой, тарелки и чашки — в коробках и тазах. Шкафы вымыты и открыты для просушивания и проветривания. Плафон снят, отмыт от пыли и, натёртый до ледяной прозрачности, временно устроен на подоконнике в большой комнате.

После обеда решила побелить потолок и печку. Развела полведра мела и шкафчики прикрыла газетами, но потолок всё ж следовало перед тем вымыть, потому как белить поверх прошлогодней грязи — не в её правилах.

Неловко ввалившись с двумя пустыми ведрами в кухню, Крот остановился у двери в ожидании указаний. Мусоля огрызок сигарки, он матюгнулся и с нескрываемым раздражением зыркнул на Томку.

— Когда конец-то? Третий день бардак, и охота тебе?! — буркнул он, искося скользнув глазами по кухне, и присел у печки.

Томка уже и не пыталась выпихнуть Лёньку на улицу, чтоб не мешался, потому что он всякий раз довольно скоро возвращался и, не вынимая изо рта окурок, снова усаживался возле печки. Не только Лёнька, но и другие мужики в уцелевших дворах Уздечкина в бабьих хлопотах не участвовали, только выносили в ведрах грязную воду, у кого на улицу слив не выведен, да шатались больше без дела, курили, через забор жалуясь друг дружке на бедлам в доме.

— Сходил бы хоть к Зинандревне, воды ей принёс, ага! А то она с утра опяясь с книжками таскается, ну, прям, что наша кошка с котятками, — наклоняясь, чтобы промыть тряпку в ведре, пробубнила Томка и тут же гаркнула: — Слышал, чего сказала?!

— И на черта каждый год их таскать на двор, потом обратно? Чудно. Может, сдвинулась по старости лет, а? Как дед у Васюкиных, помнишь, табуретки из угла в угол всё переставлял, веник в окошки бросал, кипятком из чайника цветы поливал... Цирк!

— Ага, вот заодно и спросишь, — ещё громче рявкнула Томка, всем своим могучим телом крутанувшись в сторону печки, да так, что стол под ней сначала было взвизгнул, но, слегка качнувшись всеми четырьмя ножками, тут же обречённо затих. — Ох, я т-т-те сегодня в бане настучаю веником! Не-е-е, метлой! Иди, говорю, зайди к бабке-то, а то убьётся ещё чего доброго через порог. Ноги-то у ней не поднимаются. Охота ей, видать, говорит: “Проветрить надо”. Кипятком пока не поливает их, до этого не додумалась, но на ветерке протряхивает и сухой тряпкой обмахивает.

— А эт зачем?

— Ты чего пристал?! — вздыбилась Томка. — Сказала же: “Иди и спроси!”. Вся жизнь, сколько её помню, всё читала, читала... В отпуске и то сидит, бывало, во дворе и читает. Лето, дел невпроворот, а она уткнётся и сидит. И утро, и день, и ночь — всё одно. Иду летом как-то из бани, по темноте уж, а у неё в спальне свет. Ой, я, грешница, не выдержала, прокралась через палисадник, дотянулась до окна — читает! Ну, прям, помешанная на них, а я вот думаю, ну, какая уж от них польза? Так, только глаза увечить, тут и без книжек ни черта не вижу.

— Во, лучше телек посмотреть, и кино. Сиди — гляди, хоть на девок голых, хоть на биатлон. Хорошо! — отозвался Крот.

— Ох, я щас кого-то тряпкой отхожу, — замахнулась на него Томка. — Девок ему подавай! Вспомнил бабай, как носил малахай! Кривой весь, а туда ж! На меня погляди, и хватит с тебя!

— Сказала то ж... По этому-то делу как раз самое то, а если на трезвую башку, — Лёнька помялся, сбоку поглядел на широкую спину Томки, потом на крепкие плечи и руки, надраивающие крепко зажатой в пятерне тряпкой крашенный потолок, и осторожно (на всякий случай) прибавил:

— Дык лучше на девок в телеке поглазеть.

Тряпка пролетела мимо, звучно и лёгко влетела в печь и шлёпнулась на пол. Шабашник неуклюже подскочил, и, роняя с ног калоши, торопливо шаркая ими по затоптанному полу, шмыгнул в сени. Томка тяжело выдохнула, одёрнула на себе майку и придирчиво осмотрела вымытую часть потолка, потом слезла со стола, прошла до печки, подняла тряпку и дёрнула дверь, которую Лёнька, скрываясь, оставил приоткрытой.

— Пёс шелудивый! Ишь, “...на девок поглазеть!” — передразнила она сожителя. — Вот ушлёпок! На правый глаз почти слепой, и левым ни хрена не видит, а туда же! Не зря фамилия — Крот. Да кому, кроме меня, ты нужен, малохольный?!

Хлебнув воды из кружки, стоявшей на крышке поверх эмалированного ведра с водой, она подвинула стол дальше, и в несколько этапов, с отдыхом и расстановками, кое-как взгромоздилась на него. Это было почти как полёт в космос, но Томка не сдавалась: она боролась с собой, с досадной и упрямой неповоротливостью чрезмерно упитанного тела, с неотвратимыми прострелами в пояснице и шее, с ускользающим то и дело чувством равновесия. Она безмолвно и смиренно надрывала себя, потому что по-другому не умела и не представляла, как можно жить иначе, вести дом и хозяйство, не уступая болезням, накопившейся за жизнь усталости и возрасту. Наконец, промокнув мокрой тряпкой пот со лба, едва уняв одышку и навязчивое сердцебиение, Томка выпрямилась и снова размашисто и стремительно продолжила своё дело.

Скрытая в ней клокочущая, вовсе не бабья сила с возрастом, казалось, только приумножалась. Если б можно было заменить корявые суставы, изношенное сердце и голову, которая болела ежедневно, по ночам, с утра, после

дойки, само собой после прополки огорода, обязательно на погоду и всегда после бани, если дать себе волю попариться, как следует, она бы и с мужиками померялась-потягалась силой. Ещё неизвестно, кто из этого поединка вышел бы победителем. Ну, а материлась Томка даже изощрённее, чем мужики: по-солдатски, без всяких там двусмысленностей. Лёнька ухмыляясь, говорил, что и на зоне такого не слышал, и на приисках тоже. И где научилась?! Она и сама не знала, получилось само собой такое дело, чего теперь разбираться — не зря Чисто Чёрт. Так Томку прозвали ещё по молодости за то, что она, чертовка, при всех её многочисленных привлекательных внутренних и внешних достоинствах самым непостижимым образом, замысловато, но вполне естественно сочетала в себе в придачу к ним кучу всяческих недобрительных черт поведения и характера. Её неоднозначная натура шокировала и удивляла людей, которые могли восхититься ею и тут же осудить, потому как она сама на каждом шагу давала для этого поводы, не заботясь и не переживая о том, “а чего люди скажут”. Томка всегда была сама себе на уме, сама себе начальник и командир, и сама себе умница и красавица. И хоть никто не был ей указом, но своенравность свою она не выставляла. И доброй, и дурной славе предпочитала спокойную уверенность в себе, потому как считала, что всем всё равно не угодишь, да и не надо. Не безобразничала, конечно, но и нрав своей неординарней не обуздывала. Какой Господь создал, такой себя и любила, а другим отвечала, что коли не нравится в ней что, так это не её забота, и уж тем более, не “ихняя”. Не нравится, не смотрите, а лучше — отстаньте! Своими делами займитесь. А как можно было на неё не глядеть?! С такими-то габаритами достоинств! С таким внешним и внутренним неохватным содержанием! С такой словами неопишуемой внушительностью, с какой стороны на неё ни глянь!

— Не баба — вулкан! Камчатка! Канонада, извержение, если рот откроет! — так только про неё в деревне и говорили.

И всё это правда, но не полная. Это так снаружи казалось, а изнутри Томка была, ну, разве что нежнейший пленительный цветок или невесомая бабочка, не иначе. И никто и ничто не было в состоянии изменить хоть на йоту это утробное душевное кружево, которое и она сама не могла определить толком, а лишь чувствовала смутно. Она бережно несла по жизни и хранила это в себе как самое ценное своё достояние, заповедную живинку, вдохновение своего большого и щедрого сердца.

При всей своей внешней физической мощи и чисто деревенской извечной готовности в любой момент сорваться с места и помчаться, к примеру, спасать огород от коз или баню от пожара, внутри Томка Чисто Чёрт была существом чувствительным и утончённым, можно сказать, до филигранной фактурности. Правда, как и филигрань, внешне изящная и похожая на тончайшее кружево, на деле — напаянная на металле проволока, так и Томка характером, здоровьем и комплекцией, скорее, напоминала нечто несокрушимое во всех смыслах. Хоть кувалдой по ней стучи, хоть из ружья стреляй, хоть обматери и пошли в самое поганое место, она не растеряется и любого обидчика или похабника уничтожит на месте его же оружием. Такая вот из неё всегда получалась тяжёлая артиллерия.

Замуж Томка выходила два раза ещё по молодости, родив от каждого законного супруга по дочке. Мужики, правда, не прижились, тонкую свою душевную сущность показывать при них Томка стеснялась, а сила её не бабья, которой и мужик позавидует, была хороша только в хозяйстве да на сенокосе. Вот и оставалось ей, бедной разведёнке, лишь мечтать в редкие минуты отдыха, чтобы сохраниться самой в себе, суть свою, скрытую от всех, не растерять с годами и бедами.

Зинандревна

Томкина соседка, Зинаида Андреевна, из-за болезни уборку к Пасхе затеяла позже всех в деревне. Она, конечно, с таким пристрастием, как необузданная в своих порывах соседка, прибраться уж не могла, да и не стремилась: вымыла, пыль смахнула, паутину по углам пособирала, уже хорошо.

Дома прибралась быстро, за два дня, а вот с книгами надолго застряла в спальне. Небольшая полуторка-кровать, единственный предмет, намекавший на то, что это и впрямь спальня, неловко пристылилась у самой двери. С неё всё перетрясла-пересушила скоро, оставалось “проветрить” библиотеку.

Главная ценность бывшей учительницы с трудом помещалась в трёх огромных книжных шкафах во всю стену до самого потолка. Каждый год личная библиотека, собранная по крупицам за долгую жизнь, проходила у неё полновесную и кропотливую процедуру ухода, отработанного до мелочей. Сначала она аккуратно снимала книги с полок и складывала на столе стопками штук по пять-шесть примерно, столько, сколько могла унести, потом перетаскивала их на улицу. На деревянном помосте из старых межкомнатных дверей, разложенных на табуретках, перевёрнутых вёдрах, оставшихся с осени напиленных чурбаках, бережно размещала книги, а сама садилась рядом с ними на табуреточку, чтобы не оставлять без присмотра.

Она меняла двери на пластиковые, когда вышла на пенсию в две тысячи пятом, а старые не выбрасывала, хранила весь год в сарае, чтобы по весне, отмыв от пыли, превратить в довольно внушительную площадь для проветривания книг. Зинаида Андреевна раскрывала книги, раскладывала, несколько часов выдерживала при лёгком весеннем ветерке, несколько раз перелистывая, стряхивая пыль. Потом заносила в дом и расставляла на чистые полки, отмытые от пыли. В день старушка осиливала штук по пятьдесят-шестьдесят, больше книг в раскрытом виде на дверях не помещалось. Кропотливо и тщательно она выполняла изо дня в день одно и то же, пока все книги не были снова расставлены по своим местам. И так из года в год.

Бывшая учительница в последние годы стала жить замкнуто. Раньше калитка не закрывалась, то дети прибежали, то мамки, бывшие ученики иногда заходили, но, когда работать бросила, через восемь лет, как на пенсию вышла, сразу всё изменилось. Словно вдруг стала незаметной, невидимой.

Только Томка по-соседски заглядывала, и почтальонша пенсию приносила. Неделями она могла не выходить из дому, если болела или была занята чтением, только по двору пройдёт, дела сделает, и опять в дом. Томка, как закупается с пенсии сразу на месяц, и ей продуктов купит — чаю, сахару, хлеба, муки, риса, гречки... Она ей потом деньги отдаст и рада, хоть самой не тащить. Магазин далековато, по грязи и по снегу и вовсе не дойти с большими ногами, а они с Лёнкой на мотоцикл сядут, купят всё, в люльку загрузят и прямо к дому подвезут. Это даже не соседское уважение и внимание, и не как к учительнице, у которой Томкины дети отучились, и не просто человеческое как к пожилой и больной, а родство такое, когда никто ни о чём не думает и ничего не говорит. Как само собой. Просто по-людски — от сердца, а как же, ведь не чужие, свои, одна чашка-ложка, одни беды-победы, печали-радости, одна жизнь на всех — одинаковая. Столько лет рядом, какие уж тут разговоры могут быть?! И в голову не придёт. Да и что сказать-то? Про такое и слов не придумано. Тут добро сделаешь человеку, оно и скажет и про тебя, и за тебя, сам словами лучше и больше всё равно не скажешь. Только сердце дрогнет, замерев на мгновение, а когда застучит снова, то уже не так, как раньше, — с другим в согласии, в одном с ним созвучии.

Зинаида Андреевна шаркала калошами, только в которые и влезали распухшие от отёков ноги, с утра до ночи, со двора в дом и обратно. Обувь не снимала, потому что со стопками книг в руках было невозможно попасть даже в калоши, специально купленные на несколько размеров больше. Покончив с книгами, она начинала отмывать с пола засохшую грязь с мылом и содой. Это растягивалось ещё на целый день, потому что, вымыв полы в спальне, потом в прихожей, и к концу уборки — в сенцах и на крыльце, она каждый раз по целому часу лежала, приходя в себя, наглотавшись таблеток. Гипертония, которой она мучилась уже больше двадцати лет, быстро выводила её из мало-мальски работоспособного состояния, иногда фельдшерница Алёна, когда-то бывшая её ученицей в школе, даже не могла определить цифры на стареньком тонометре, шкалы не хватало. Зинаида Андреевна старалась об этом думать пореже, ещё со школы привыкла подниматься и идти на уроки в любом состоянии. Что сделаешь, когда некому больше.

Она одна вела русский и литературу во всех классах, и никогда не допускала, чтобы учебный процесс был сорван из-за неё.

— Вот же придумали вы себе экзекуцию, Зинандревна! — завершив уборку собственной кухни и зайдя к ней вечером, возмущалась Томка Чисто Чёрт. — Не поросята ведь! Стоят себе для красоты, жрать не просят, ну, и чего вы их туда-сюда тягаете?!

— Так пыль, Тома, — добродушно улыбалась Зинаида Андреевна. — А вдруг грибок? Проветривать надо. Сама ж говоришь — для красоты.

— Ой, всё вы сочиняете. Я в библиотеке когда работала, дык мы сроду ничем таким не занимались, и ничего. Да и какая от них красота-то, а? Одна пыль. И места сколько занимают. То ли дело, вон, у меня сервис в серванте стоит, золотом сверкает, глянешь — загордишься — дорогой, чешский. Хорошо живём вроде. Хоть и ничё хорошего-то и нету, а ведь подумаешь так. Или я когда картину повесила, помните? Тоже красиво стало с ней, как-то вроде культурно, что ль. И Лёнька говорит: “Том, прям музей!” Хоть и не были никогда и уж не будем там, а сами себе и Эрмитаж, и Третьяков-ка, и... — Томка запнулась, припоминая картинные галереи и музеи, но соседка выручила:

— ...и Лувр!

— Чего? — не поняла Томка.

— Лувр, — повторила Зинаида Андреевна. — Музей в Париже. Находится в бывшем королевском дворце. Огромный, вроде нашего Эрмитажа, хотя... Эрмитаж, пожалуй, больше.

— Ага! — просияла Томка и, подбоченившись, захохотала.

Грудь у неё затряслась так, будто она на телеге ехала по ухабистой дороге со здоровенными кочками.

— Ха, ха, ха! А чего, пускай! Хоть и этот Лувр, мы-то чем хуже?! У нас тоже почти как в Париже, только крыши пониже да грязь пожизне! Рама у картины уж больно хороша, будто и впрямь по-настоящему позолотили. И научились же делать — тыща двести за всё про всё, а на стену повесить не стыдно. И дом украшает, и поглядеть приятно. А я, знаете, всем говорю, что она три тыщи стоила. Верят. Я и сама б поверила: и цветы прекрасные, свежие, как только что сорваны, и девка на картине, ух! И фигура, и наряд, и причёска — всё при ней, на своих местах, как полагается молодой да здоровой. Сама такая точно была, на фотке с выпускного — кровь не с молоком, со сметаной! Даже причёска похожа, в парикмахерской делала, волосок к волоску. “Бабетта”! Ой, модно было, все так ходили, одна другой краше, не то, что щас эти тощие по телеку, лохматые, клочками крашенные, в дырявых штанах — лахудры, прости Господи! Ни тела, ни содержательности, ни сердечности в них! Вылупят зенки пустые да лыбятся, а чего, спрашивается? А спрашивать-то и нечего, у каждой же на лбу написано, что деньги любит и мужиков побогаче, с яхтами и самолётами. К такой с букетиком не подступишься, такая и с духами дорогими от ворот поворот сыграет. Вот ведь как, ни кожи, ни рожи, а тож себе цену ломят похлеще красавиц. В наше время такие на танцах по углам жались, а теперь — чем ни страшней да тощей, тем дороже стоит! А не нравится — не глядите! Ничего мол, тупицы, в красоте не понимаете, и заткнитесь. Подцепят богатенького, и на его деньги давай справлять себе в салонах процедуры на все места, серьги-кольца, брильянты, шубы-платья из-за границы... Эт щас, знаете как называется, вчера по телеку слыхала, — любить себя. Я так думаю, Зинандревна, что по молодости да ещё если на такие деньги жить и одеваться, то красавицей быть не велика заслуга-то. Эдак из любой крокодилы красотку состряпать не много ума надо. Да я, в девках и без салонов, в которых их холят да лелеют, и без норковых шуб всех этих страшилок за пояс заткнула б, да вы фотки ж мои видели. Ну?! Скажите, так?! С них же сними заграничное тряпье, умой морду с мылом — без слёз не взглянешь, ничего ж не останется, одна бледнощящая канва, что для вышивки, иль тарелка голая под роспись. А мой-то, знаете, чего сказал сегодня? Ой, чуть со стола не свалилась. Сморчок чахлый, говорит, чем на меня ему глядеть, так

по-любому лучше на девок в телеке, особо, когда по трезвому делу. Я, Зинандревна, вишь, для него только по пьяному делу, значит, пригодная!

Зинаида Андреевна подтвердила:

— Выглядишь достойно, Тома, не слушай его. Мелет мужик, чего и сам не понимает. Вон ты какая справная! Только здоровье береги, болезням не поддавайся.

— Ой, и не говорите, Зинандревна. Пока потолок вымыла да побелила, думала, упаду со стола. Голова и щас болит в затылке. Знаете, мне тут глаза колот, что, мол, просидела в библиотеке, зад отрастила, а я-то в ней и сидела всего ничего.

— Ну, уж так прямо и сидела, — не поверила соседка. — Тогда ведь читали, тоже, наверно, потаскала книжки-то?

— А то! Накрячишь штук десять и лезешь на стремянку. Верхние полки высоко, под потолком. Тогда ведь в колхозной библиотеке двадцать тыщ единиц в фондах числилось, да ещё в хранилище — в подвале комната была - и не вспомню теперь, сколько ещё. Каждый год инвентаризация, всё подчистую сверяли, переключивали. И ведь, да-а-а, правда ваша, Зинандревна, читали, даже очереди были за некоторыми книжками. Вот, помню, за Агатой Кристи человек по десять-пятнадцать всегда в ожидании, и за другими детективами тоже. Аксёнова, помню, читали в очередь, “Юность” разваливалась, как зачитывали. Приходилось клейстер варить и переплёт снаружи марлей или бинтами проклеивать. Ещё Шолохова часто спрашивали, “Судьбу человека” и “Тихий Дон”. Распутина уважали... Ребятишки Осееву брали, “Васёк Трубочёв и его товарищи”. Драгунского, у-у-у, всем нравились “Денискины рассказы”. “Робинзона”, опять же, брали часто, было дело, ага. Да много чего читали. Всё ушло.

— Ушло, Тома, ушло, — потупилась учительница. — Я думала и верила, что жизнь настанет другая. Как в книгах. Молодая была, идеалистка... Начитаюсь романов о грядущем счастье, о героизме труда, о сильных людях, лежу иногда ночью, представляю, как это будет...

— Эх, вспомнила Матрёна, что грудь была ядрёна, а нынче-то у ней и не найти грудей, — широко улыбнулась Томка. — Дык так оно и должно быть-то, а? Время катится, зараза, через всех — бабки помёрли, бабы состарились, девки за мужьями ходят, а кто без мужьёв остался, и те для себя уж народили и вырастили. Каждый по-своему кумекает, в свою дудку дует, свои частушки поёт, как умеет. Эх, чего бывшее-то ворошить?! Давайте лучше чай пить.

— А и то правда, — согласилась Зинаида Андреевна.

— Я-то ведь, когда детей жить проводила в город, сама еле-еле до пенсии доработала библиотекарем. Работа моя по специальности, так сказать, вместе с закрытием клуба накрылась медным тазом — заодно прикрыли и библиотеку. Книжки покидали в ящики, накрыли клочками целлофана да и отправили на тракторе с тележкой в район. Дело было по осени, дорогой — дождь, и, как назло, обложной зашёл, немилосердный. Коробки промокли, книжки попортились, списали потом, а я до самой весны без работы сидела. Каждый день материлась и плакала, Зинаида Андреевна, и от обиды, и от бессилия... Ой, в церковь ходила, свечки ставила, молилась, всего-то до пенсии меньше года мне оставалось. Уж как упрашивала в районном отделе культуры подождать годок, не закрывать, умоляла, унижалась — ничего! Чего у нас человек перед бумажкой с печатью?! Ничего! Закрыли, и кончено дело. Потом, слава богу, в конторе место уборщицы освободилось. Дотянула до пенсии кое-как на полставки, вторую полставку с Шуркой Осиной поделила, мы ж годки. Так и ушли обе в один день, а вместо нас Лидка Махотина и Катерина Картохина вышли, тоже Христа ради, дотянули до пенсии.

Зинаида Андреевна откинула салфетку, под которой оказалось блюдо с выпечкой, маленькая вазочка с мёдом, пол-литровая банка домашнего повидла и конфеты, и разлила чай.

— Я, Тома, знаешь, так думаю, не всё можно деньгами измерить, и даже умом. Есть вещи, которым по сей день названия так и не придуманы, но это ведь не значит, что их нет. Сейчас расскажу тебе один случай. А ты

уж сама суди. Сегодня, когда носила книги на улицу, попалась одна, о которой не могу теперь забыть. Вспоминалась история, ещё до выхода на пенсию это было. Помню, пришёл как-то зимой Серёжа, ну, из самого первого моего выпуска, помнишь? А на дворе стужа, замело всё. Пришёл и мнётся на пороге. Я его приглашаю, думала, пришёл проведать учительницу или поговорить о чём-то хочет, а он не идёт в дом-то, стесняется.

— Погодите, Зинадревна, который? Сергуня Косорот, что ли? Тот, что на трассе по пьяни убился? — уставилась на неё Томка, усаживаясь поудобнее. — Да уж, в аварии, аккурат, перед самой Пасхой, ещё в том веку было. Всем селом хоронили. Трое у него осталось.

— Да, жаль парня, крепкий был, работающий, — глядя в пол, прошептала Зинаида Андреевна. — В девяносто девятом случилось.

Они помолчали недолго, потом Томка, словно проснувшись, уставилась на соседку и с любопытством спросила:

— Дык, и чего? Чего он приходил-то? Неужто и у вас занимал на поллитру?!

— Ах да, извини, задумалась, вспомнилось всё так... Явно. Как живой. Так вот, пришёл и стоит в дверях, мнётся. А потом и говорит, мол, можно у вас книжку попросить для чтения? Ну, тут уж мне всё понятно стало, я и отвечаю, что, да, пожалуйста, бери, сколько хочешь. Для чего же они ещё нужны, если не для чтения?! А он и говорит: "Мне много не надо. Одну. Позарез нужна. Только название забыл". Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. Вот, думаю, номер. А автор кто? Он снова мнётся. "Этот, — говорит, — вроде... Не помню, ну, город такой есть, в Англии, что ли?" Ну, тут я разу сообразила, что, скорее всего, это Джек Лондон. Говорю, проходи, вон на полке сверху, выбирай. А он высокий...

— А то! — захохотала Томка. — В отца. Тот сроду, в какую избу ни войдёт, обязательно макушку снесёт себе иль лоб разобьёт об косяк, и Сергуня не мог никуда зайти, чтоб пополам не согнуться.

Зинаида Андреевна улыбнулась уголками рта и отхлебнула чаю. Томка сильным и уверенным движением макнула плюшку в вазочку с мёдом, откусила добрую половину и принялась с аппетитом жевать её.

— Да, такие они были... Хорошие люди, — с грустью сказала старушка. — Ну, и вот, искал он, искал, а потом, вижу, держит в руках, говорит, вот, мол, он, "Белый клык", и улыбается мне. Несколько раз ещё приходил, Конан Дойла брал читать, Марка Твена. Потом я с августовского совещания привезла Гюго и Ремарка, там районный книжный магазин специально для учителей выставку-продажу устраивал каждый год. Он это всё тоже прочитал. Сена в благодарность за книжки привёз моей коровке, да столько, что Марта и не съела за зиму. Спасибо ему, Царствие Небесное безвременно погибшему, бедный... Хороший был паренёк.

— Ох и хороший! Алкаш, и сказать больше нечего. Ничё, главное, потомство успел сострогать, и все на него похожи, как яблочки с одного дерева.

— Ну, детишки крепкие, нечего сказать. Знаешь, Тома, он в ту зиму, жена его мне уж потом говорила, хоть и пил, но всё как-то пореже, вроде. Сыновьям начал читать на ночь, они слушали с удовольствием. Я ему Ершова тогда подсунула — "Конька-Горбунка", с него и началось общение с детьми. Он и сам удивлялся. Тогда, именно в то время, у Серёжи что-то внутри шевельнулось, я это уловила, а знаешь как? Он по-другому смотреть стал. Встретился мне у магазина незадолго до аварии, пьяненький, еле на ногах держится, думала, что ничего не соображает, а он вдруг приосанился, так вытянулся весь, выровнялся и говорит, заплетаясь: "Проходите скорее, не глядите на меня, Зинадревна". Стыдно, значит, стало. Раньше, сколько раз его встречала, и хуже бывал, а хоть бы что, и тени смущения не замечала. Ну, а вскоре и несчастье случилось, — развела руками Зинаида Андреевна.

— Чёт я не поняла, — уставилась на неё Томка, — по-вашему выходит, что он от книжек мог совсем путным сделаться? От книжек?!

— Кто знает, Тома? Но я видела, своими глазами, как в ту зиму Серёжа меняться начал. Не сказать, что прямо переродился, но что-то в нём тогда происходило, и по разговорам, и по глазам замечала. Думала намекнуть

ему, чтобы в техникум заочно поступал автодорожный, на механика, да вот видишь как.

Томка ничего не сказала, только поморщилась и, взяв плюшку, стала сосредоточенно намазывать на неё яблочное повидло.

— Спасибо, Тома, что Леонида на подмогу прислала. Очень он мне сегодня помог, — улыбнулась Зинаида Андреевна и налила ей ещё чаю.

— Да не за что! — прыснула Томка. — И так не знала, куда его, сумасброда, деть. Ага! Объял все кишки, дармоед. Шаркает целый день туда-сюда через порог, а всё без толку, вот я его и послала, думаю, хоть вам подмогнёт чего, всё лишний раз не реализуется. Упилился в прошлые выходные до чёртиков! Тащила его, аж надорвалась вся. Ведь соплёй прибьёшь, одни кости, а спина по сей день болит после того. И не совестно! Ни хрена! Ни в одном глазу! А вы говорите, книжки читать... Эх, Зинандревна, Зинандревна! Давно это было, что с Серёгой-то, щас уж другие времена, теперешнего человека ничем не праймёшь. Никакими книжками не спастись, всё прошли, промотали: совесть, и стыд, и деревню свою, где наши матеря и отцы строились, обживались, жизнь налаживали. Уйдём скоро и мы, и ничего тут не останется. Да если бы всё так просто было, что книжек начитался да прямо сразу ангелом-то и сделался.

Томка смотрела на Зинаиду Андреевну, но та молчала. Выглядела она как-то то ли виновато, то ли обречённо, сидела, потупившись, поджав губы и плотно сжав в замок узловатые пальцы рук. Но, чуток помолчав и переведя дух, Томка после тирады, которую выдала в сердцах, уже не в силах была остановиться. И её понесло:

— Книжки-то, они, может, и нужны. Я, правда, сама их мало читала, некогда было, да и не люблю. Только ребятишкам сказки, ой, да и то когда мне было? В библиотечный технарь пошла я с двоюродной сеструхой, за компанию, подумала, что так проще учиться будет, всё равно не знала, куда поступать. Списывала у неё всё время, пока учились. Нормально было. Девчата весёлые, на танцы вместе шастали. Зенитное училище недалеко — через улицу, так вот мы всё туда, всё туда... Ой, я с одним шуры-муры даже завела, было, но его на Дальний Восток послали, я не поехала. Дура! Всё от мамки боялась оторваться, вот сюда, рюха, вернулась. Как раз место в клубе в библиотеке освободилось. Как же, повезло, работа не пыльная, и по специальности. Мать радовалась, что дочка учёная, и потому не в коровнике, не в поле, как она всю жизнь, пока на инвалидность в пийсэт лет не угодила со второй группой, нерабочей. Хоть и зарплату, конечно, с доярками, с телятницами не сравнить, зато сидела в тепле. Двое нас было, я да Тонька, а потом меня сократили, её оставили. И вся-то радость у мамани моей закончилась, теперь уже плакать взялась, а ей и говорю, мол, не реви, раз и образование не спасло меня от крестьянского труда, значит, судьба такая. Плачь — не плачь, а засучивай рукава и иди ишачить, нечего тебе, Томка, среди книжек делать. Двадцать с лишним лет на колхозных работах отпахала, только когда Антонину схоронили, опять меня приняли. И то не дали спокойно доработать до пенсии. Сволочи, все нервы вымотали. Сидела б себе и сидела, и оставалось-то всего ничего! И кому помешала наша библиотека?!

— Да-а-а... Когда у деревни отнимают имя и дают новое — лишают прошлого, забывается одним махом история. Если в селе закрывают больницу — это угроза настоящему. Когда закрывают школу — будущее убивают. Ну, уж а если рука поднимется закрыть библиотеку, то перечёркивают всё сразу, — прошептала Зинаида Андреевна, опустив глаза.

Зинаида Андреевна вообще-то мало говорила, всё больше сама слушала. Она переживала то, что беспокоило, в себе, не любила обременять других ни проблемами, ни разговорами, мнения своего не навязывала, а чужое уважала независимо от того, нравилось оно ей или нет. Конечно, если уж совсем бестактно кто-то высказывался, она одёргивала всегда, даже сердилась, но на себя больше за то, что тон при этом повышала. Сказывался учительский стаж, с этим ничего уже не могла поделать, потом, бывало, извинялась, а бабы смеялись. Им-то невдомёк, как человек может с такой вежливостью отвечать, терпеливо снося местную грубость, брань, а порой и откровенное

бескультуре, да ещё себя потом упрекать за “излишне дидактический тон”, как называла это сама учительница. У баб-то всё куда проще: на мат — матом, на оскорбления — тем же (сам дурак!), на крик — криком (а как же ещё?!), а за хамство или пьяные выходки и огреть могли чем потяжелее, не задумываясь. Бабки, которые совсем старые, ещё помнили времена, когда народ был другой. Крепко всегда выражались — этого у нас не отнять, это наше, с молоком матери впитанное, а за плохое поведение, — тоже, раз человек по-другому не понимает, то — между глаз, и кончен разговор, но это только для таких случаев и применяли, а речь была раньше другая. Старались с уважением друг к другу подходить, понимая обращение как душевный посыл, как слово чистое, прямое и приветливое, а прежде всего, — живое, заключающее в себе искреннее расположение к человеку и с добрым отношением, с пониманием, с раскрытым настежь сердцем.

Банный день

Баня в Томкиной безрадостной жизни была той отдушиной, которая сродни чуду, несмотря на кажущуюся обыденность и устоялость этого древнего бытового мероприятия. В банный день, а им считается в деревне суббота, с утра она начинала священнодействовать. Сначала выгребала золу из печки, потом носила дрова, заливала воду в баки, в те, которые громоздились на плите, а после — в углу, и ещё у входа ставила воду в ведрах на всякий случай. Прибирала, трясла коврик и вывешивала его на забор, проветривала на улице на ветерке полотенца, которые сушились на верёвках с прошлой бани, готовила чистое бельё, запаривала веники, пополняла запасы мыла в ящике под лавкой, хоть они и имелись там всегда в избытке.

Кружилась Томка с баней, как честная нянька с непослушным дитём, продумывая всё до мелочей и аккуратно выполняя в строгой последовательности, одно за другим, кучу дел, важность доброй половины которых вызвала бы недоумение у кого угодно, но только не у неё. Уже после обеда мыла пол, заносила коврик и стелила в предбаннике, чтобы босыми ногами можно было стоять, обдавала кипятком полок, плескала на камушки. Приносила двухлитровую банку с прохладным квасом, стелила простынку на лавку в предбаннике, чтобы отдохнуть, попарившись, тёрла на тёрке мыло, заваривала травы для аромата... Она гоняла Лёньку, если тот зачем-нибудь, а чаще безо всякого дела, заглядывал сюда, норovia грязными подошвами затоптать пол, требовала принести ещё дров и свалить их уже не у печи, а на улице.

Баня, её нескрываемая страсть, делала Томку другим человеком, давала силы, избавляла от тяжких мыслей, дурного настроения, грязи, которую она, как ей казалось, смывала не только с тела, но с самой души. Вымытой кожей она ощущала тепло воды и холодящую чистоту так, словно старая шкура слезла с неё как с ящерицы, а новая, которая открылась под ней, и чувствует тоньше, и выглядит нежнее, и вообще, как у новорожденного поросёночка, аж светится и звенит, если скользнуть по ней пальцем.

Внутри же Томка ощущала иное. Что-то постепенно и кротко начинало в ней своё тихое, осторожное движение, едва уловимое, но определённо совершающееся под действием тепла, пара, банного освежающего духа... И хрен его знает чего ещё. То для Томки было непостижимо, хотя, в сущности, и неважно. Она с любовью и благодарностью принимала этот бесценный дар своей бани, вливавшийся в неё могучей, оживляющей струёй, в которой словно размягчалась её внутренняя гранитная стойкость. Томка при этом становилась легка и податлива до такой степени, что если б можно было вынуть изнутри то, что называется душой, то есть самую сущность её человеческую и бабую, она бы не смела противиться этому. Как пьяная, она шаталась из парилки в предбанник, обливалась то холодной, то горячей водой, драила себя жёсткой зелёной мочалкой, лила и лила на себя воду из ковшика, из таза, прямо из ведра... Лишь когда голова начинала кружиться от жара, выходила ненадолго, а попив квасу и отдышавшись, снова и снова начинала процедуру сначала, встав ногами в таз с горячей водой и натёртым на тёрке хозяйственным мылом “72 %”.

Лёнька баню не любил, мылся для проформы больше, быстро, по-солдатски. Бомжевание приучило его к редкому и скудному мытью, в основном в речке, когда тепло, да по подвалам зимой, нашедив в какую-нибудь подходящую лохань воды, сочащейся из трещин в трубах. Но он не оставлял Томку мыться одну, подолгу просиживая в предбаннике, выходя лишь изредка покурить, накидывая прямо на голое тело телогрейку. Он наблюдал за Томкой, а это было видение, его, только Лёнькино, достояние, и какое! За такое он отдал бы всё на свете, если б чего имел. Это было его добровольное самоотречение, преклонение перед женщиной, её могуществом и великолепием. В этом ему чудилось что-то колдовское и необъяснимое, магия, перед которой он становился бессильным.

В жизни Лёньки женщин было не сказать, что много, но достаточно, чтобы не считать, что промотал он свою мужскую силу зазря. Жениться ему случилось лишь раз, по самой молодости, а потом, как жена выгнала его за пьянство и развелась, он больше на эту тему не осложнялся. Относился к тому, что выпадало на долю, как к погоде на улице. Там-то никогда не знаешь, что и как будет завтра, послезавтра, после-после... Только, раз дождь — обувай сапоги, солнце — кепку на башку натягивай, а в мороз — валенки доставай, в ветреный день — куртку, чтоб не продуло. Так он и жил. Чего валилось на его голову, принимал как должное, приспособляясь, выкручиваясь, надеясь на лучшее и уповая на удачу, которая всё больше обходила его стороной. И пропасть бы ему с такими подходами к жизни, стинуть и лежать где-нибудь на дне реки, обглоданному раками, но прилепился он к Томке, задержался возле по какой-то счастливой случайности. Так и остался, как найденный на дороге камень или кусок неотёсанного горбыля, которые деловая и практичная баба приспособила к хозяйству и к своей нехитрой жизни, то ли подоткнув им подгнившее крыльцо, то ли разбив им душной стеклянный купол своего одиночества. Она и знать не знала до того, и не думала, что будет рада и этому ушлёпку, неопрятному, насквозь прокуренному и пропившемуся до самой последней степени, почти беззубому, ни к чему особенно не приспособленному.

Теперь по субботам, шустро помывшись и натянув семейные трусы из коричневого штапеля, завалившегося с советских ещё времён в Томкином комодке, которых она нашла ему добрый десяток, когда к ней подселился, потому как не было у него ни пиша, Лёнька садился в предбаннике. Он любовался своей женщиной и её великой и широкой статью. Тщедушный и жилистый, как иссохшая в жару, брошенная на берегу плотва или зачерствелый кусок хлеба с коркой, он услаждал глаза видами роскошного бабьего тела, которое сотрясалось перед ним естественными и наросшими от избыточного питания выпуклостями, и сбоку, и сзади, и спереди складками уложенного пленительного плотского очарования. Это были часы, когда Лёнька готов был все глаза измозолить, и даже отказался бы, возможно, от чего-нибудь соблазнительного, рюмочки, например, если бы вдруг кто поднёс. Конечно, в любое другое время, случись с ним такое, ни за что бы не смог сдержаться и лобызнул без секундного промедления, окажись рюмашка в поле его зрения. Но тут... Он был бессилён оторвать глаза от Томкиного, шикарного, по его мнению, дородного и сдобного тела, на которое можно было не только глядеть, но и тут же ощутить, прижавшись, обняв всё это жадными хищными руками, и даже получить на лавке свою долю удовольствия, поделившись им с сожигательницей.

Томка подначивала его, мол, чего-чего, а об этом и не помышляй, но он-то знал, видел, что она не против, и выжидал, выходил покурить, чтобы малость охладить пыл, и продлить это удовольствие ожидания. Потом возвращался, и его рот расплывался в блаженной и одновременно хитровой улыбке, и начинал кадрить Томку, заходя к ней с разных сторон и подмигивая. Эта игра забавляла обоих и была, скорее, последними всплесками в затихающих потоках их плотских страстей, уже иссякающих по причине наступающей старости и под гнётом надвигающихся на обоих болезней, нежели чем-то подлинно-чувственным, способным что-то изменить в них самих или в друг в друге. Когда Томка, всласть напарившись и намывшись,

наконец, начинала собираться, Лёнька помогал ей натягивать сорочку, расправляя её на спине, подавал на плечи тёплый халат и шёл с собой, благодушно подсвистывая и причмокивая сложенными в трубочку губами. Томка двигалась следом, намотав на голову полотенце и подшучивая над ним, мол, нажрался бабьих телес, аж до свиста.

Попив чаю, Лёнька тут же укладывался на боковую и почти сразу же начинал храпеть. Томка всё с тем же тюрбаном на голове шла к соседке и сидела у неё до тех пор, пока либо не высохали волосы, либо не заканчивалось варенье на столе.

В тот вечер, в конце мая, когда уже можно было в одном байковом халате дойти до соседского двора, не рискуя замёрзнуть и простудиться, Томка, даже не попив чаю, сразу пошла к Зинаиде Андреевне, лишь на минуточку заглянув в дом, чтобы, удостоверившись, что Лёнька спит, прикрыть входную дверь. Она обогнула дом и, протиснувшись через хлипенькую калиточку, заглянула по привычке в соседское окно. Но свет там был выключен, и Томку это озадачило, потому как она уже много лет еженедельно примерно в одно и то же время, после наступления сумерек обязательно приходила сюда, и её здесь ждали, вскипятив чайник.

Дверь была не заперта. Томка вошла шумно и суетливо, как обычно, и, скинув тапки, прошагала через тёмные сени. В комнате слышалось пение, это включенный телевизор транслировал концерт, и его синий неоновый свет лился в комнату, оставляя на зашторенных окнах фиолетовые разводы. Томка с порога уставилась в телевизор и, остановившись посреди комнаты, дослушала последний куплет песни до конца. Хозяйка располагалась на диване, но, видимо, тоже заслушалась, потому что ничего ей не сказала в знак приветствия, как всегда это делала. И только когда экран вспыхнул ярким белым светом, и комната наполнилась им, Томка подозрительно покосилась на неё. От неожиданности она вскрикнула, попыталась назад и всем весом шлёпнулась на табуретку, стоявшую у стола.

Старенькая учительница, полусидя на диване, в неестественной позе, с низко склонённой головой, которая лежала у неё на груди, оставалась недвижимой. Томкин испуг сменился недоумением, как же можно было уснуть в таком неудобном положении, и она бросилась к ней, чтобы уложить на диван и подсунуть под голову подушку, но едва подняв её голову, тут же отпрянула и остановилась.

Зинаида Андреевна была мертва. Приоткрытые глаза остекленели, тело уже начало схватываться покойницкой неподвижностью. Томка бросилась вон. Не обувшись, в одних носках, она помчалась к себе, загребая обеими ногами, спотыкаясь и дважды чуть не упав. Когда её крики подняли только что заснувшего Лёньку, она уже вовсе не могла идти. Ноги подкосились, Томка рухнула посреди кухни и, не в силах подняться, лёжа на боку, уткнулась в половику и зарыдала. Сожитель слетел с кровати и таращился на неё, как на умалишённую, которая делает что-то непонятное, непотребное и глупое.

— Ой! — захлёбываясь слезами, стонала Томка, сдирая с головы полотенце и утираясь им. — Лёнька! Зинаидревна того... Бежи за фельдшеркой. Скажи ей, Алёне, что, мол, Зинаидревна... Ой, Лёнька-а-а-а... Ой, беда-то, беда. Ага-а-а. Да не в амбулаторию бежи-то, уже закрыто. Домой к ней, к Алёне... Ой...

Лёнька, ничего не говоря и плохо понимая, что случилось, одним движением впрыгнул в штаны, нахлобучил шапку и, путаясь в рукавах телогрейки, исчез. Томка замолкла. Ей было страшно, муторно, и в груди болело так, что вздохнуть она могла лишь через эту боль, а выдох и вовсе не получался. Она хватала воздух полуоткрытым ртом, пытаясь прийти в себя, но ничего не могла с собой поделать и лишь выла навзрыд, уткнувшись в полотенце. Она дрожала всем телом, вцепившись в махровую ткань напряжёнными пальцами. На полотенце, впитываясь, оставались слёзы, и оно, и без того влажное, превращалось в мокрую тряпку, которая теперь приняла на себя всё Томкино небывалое и уму непостижимое горе. И лишь спустя минут пять, а может быть десять, когда послышались шаги в сенях, она, наконец,

утихомирилась, зубами прикусив пахнущее шампунем полотенце. Вбежавшие в кухню Лёнька с Алёной увидели её сидящей с тряпкой во рту, будто с кляпом, с зарёванным красным лицом и истерическими хрипами в горле. Они помчались к Зинаиде Андреевне, а Томка так и не смогла подняться, чтобы двинуться следом.

...Похоронив соседку, Томка очень долго не могла свыкнуться с мыслью, что той нет рядом. Другая мысль, что уже никогда и не будет, вообще казалась недостижимой для осознания и понимания, потому как оказалось так тяжело, и было так странно, будто было чем-то, ну, совсем невероятным, чего в природе нет и быть не может.

Эти перемены оказались настолько непосильными, так досаждали Томке, что она временами становилась злой, раздражительной, грубой, но могла тут же начать плакать от бессилия, потом замыкалась в себе и по целому дню молчала. То, бывало, по рассеянной неловкости она вдруг роняла и била посуду, над которой потом всхлипывала, собирая осколки. Она по-прежнему то и дело ни с того, ни с сего срывалась на Лёньку, который нектати подворачивался под руку, или с силой и грохотом ногой задвигала под лавку вёдра, словно и они в чём-то были перед ней виноваты. Слез не было, только чувство беспокойства охватывало её, мешая смотреть на факт свершившейся смерти соседки как на данность. Как-то по-другому это должно было случиться, так казалось Томке. Но как? Она осиротела. Лёнька запил с похорон и не просыхал до вторых поминок. К сороковому дню усох ещё больше, так, что штаны сзади болтались, а на ремне пришлось пробить две дополнительные дырки.

Дом Зинандревны отошёл родне, которая, закрыв его, вывезла всю мебель, телевизор, холодильник и даже шторы с окон снимала. Посуду роздали бабам, на всю улицу хватило. Томке, как наиболее приближённой к покойнице, выделили два пластмассовых ведра, алюминиевую кастрюлю и чайник со свистком, остальным досталось поменьше. Вещи — несколько старых платьев, две тёплые кофты, юбку, пуховую шаль, войлочные и резиновые сапоги, и почти новые осенние туфли, в которые отёчные ноги Зинандревны не влезали в последние года, её племянница с дочкой оставили у Томки. Она, кликнув соседок, поделила между ними добро, себе оставив на память шаль и туфли, в которые ноги впихнула с трудом, но не рассталась с ними из расчёта, что сможет разнести, налив внутрь водки.

Конечно, она не отказалась бы от сервиза, кажется, польского, выставленного в серванте, и с великой радостью приняла бы и его, но родня то, что получше, вывезла к себе, и, закрыв дом, пропала на полгода, до вступления в силу завещания. Томка и думать забыла про этих “короедов”, как она их про себя называла, которые при жизни Зинандревны появлялись у неё пару раз в году: летом, приезжая не более, чем на пару недель, чтобы позагорать на речке, да в новогодние праздники — на день-полтора, посидеть за столом. Она теперь лишь молила бога, чтобы кто-нибудь спокойный, порядочный и непьющий купил домик соседки. Ну, или пускай бы он остался хоть пустым, без присмотра, стоял бы тогда сам по себе, и хлопот не доставлял. Ей и своих дел хватало, на Лёньку особой надежды не было, а любому дому всегда уход нужен и догляд, а иначе через пару лет и не узнаешь его.

Зинандревна по немощности только уборку производила, на ремонт ни денег, ни сил не было, и потому он уже на момент её смерти требовал немалых вложений и большого труда, обветшал снаружи и внутри. У покойной учительницы и земли было всего ничего, и сарайчик последний лет пять как завалился. Огород давно бурьяном порос, только с того края, что ближе к Тамариному дому, она кое-как сажала с её же помощью по грядке помидоров, огурцов, морковки и лука. Бани у неё сроду и не было, ведь кто построит, если одинокая? Да и Томка никогда не отказывала, всегда приглашала, а в последние года и помогала мыться. Но беда одна не ходит.

Перед тем, как уехать, забежала Наташка, племянница Зинандревны, и объявила Томке, что библиотеку та ей, оказывается, завещала, что по телефону подтвердил и единственный на весь район нотариус, который волю покойницы когда-то и узаконил. Это был уж совсем неожиданный для Томки

удар. От соседей как-то ещё отгородиться можно, а с книжками, да ещё когда их столько, что делать?!

— Вот скажите, — орала она в сердцах на всю улицу, стоя у забора, — ну, на кой она мне, эта макулатура?! Печку топить? Я их сроду не читала. В библиотеке работала — не читала, а тут... Вот, на тебе. За что?! Куда я их дену? Ведь не продашь, не купит никто, кому они нынче нужны?! А мне куда?! Вот свинью-то подложила мне соседка. И во сне такое не приснится. Как она могла, а? Повесить мне на шею... Вот, куда я с ними теперь?

Бабы её успокоили, сказали, чтоб сложила книжки все в сарае и забыла, пусть хоть сгниют. Нотариус, же, наоборот, уверял, что она получила очень ценное наследство. Библиотеку покойница считала своим самым главным достоянием. Выходило, что Томке следовало радоваться тому, что именно ей было завещано самое дорогое покойнице имущество. Получалось, что та удостоила её великой чести обладания тем наиболее ценным, что собирала всю жизнь с любовью. Впрочем, как бы оно там ни было, но для Томки эти слова звучали как издевательство. Однозначно.

И дело тут вовсе не в том, что Томка была тупицей или видела лишь материальную сторону дела. Ей дорога была память о Зинаиде Андреевне, и душа её стонала как недобитая собака, ныла от потери родного и очень близкого человека, ведь за столько лет, прожитых бок о бок, они стали друг другу роднее родственников, доверяя во всё. Но Томка совершенно не знала, что с этим “счастливым” наследством делать. Более того, она оказалась теперь в такой сложной, неоднозначной ситуации, когда невозможно было предать память настолько близкого человека, просто выбросив библиотеку или свалив безобразно в сарае, а с другой — не было никакой возможности хоть куда-нибудь пристроить эту “сокровищницу”.

Через полгода, в последних числах ноября, нагрянули снова родственники, пометались-пометались и продали дом кое-как, уже перед новогодними праздниками, управлению соцзащиты района чуть не вполтину дешевле, чем рассчитывали. Для Тамары хуже ничего и быть не могло. Теперь следовало ждать, что поселят туда многодетную семью или инвалидов, и это бы ещё ладно, а как окажутся какие-нибудь неблагополучные-неблагонадёжные... Кричи: “Караул!” Томка и думать боялась, успокаивала себя, надеялась, что обойдётся, но суждено было сбыться самым страшным её ожиданиям.

В начале февраля, ещё не успела она отойти от своих расстройств, заселили в пустующий домик жильцов — под стать её Лёньке, братья-алкоголики, оба инвалиды пенсионного возраста, один — по почкам и печени, а второй — и того хуже — по голове. Они в райцентре несколько лет не платили за квартиру в двухэтажной постройке советских времён, и были принудительно выселены за долги и по жалобам соседей, и пристроены в Уздечкино.

Томка помчалась к главе администрации Уздечкинского поселения Петру Данилычу с протестом и долго ещё воевала, не желая соглашаться с таким соседством, но всё оказалось напрасно. Пьянки-гулянки стали обычным делом, Лёнька совсем вышел из-под контроля, со двора стали пропадать куры, из кладовки — сало и лук, даже на погреб пришлось повесить замок, потому как сожигатель, быстро снюхавшись с соседями, у которых дома было шаром покати, стал таскать им картошку, баклажанную икру и квашеную капусту. Забор вокруг дома к весне уж весь переломали, топили им печку. Томке ничего не оставалось, как отгородиться от соседей сеткой-рабицей.

Лёньку весну и лето она ещё как-то терпела, но в начале сентября “терпелка” иссякла, и она выгнала его окончательно. Он поселился у новых соседей, весь пропился, и угодил с “белочкой” в больницу. Осталась Томка зимовать одна.

Пожар

К зиме Томка подготовилась основательно. Картошки и консервов домашних припасла, топку справила, дом утеплила, как смогла, кормов скотине заготовила. Оставалась нерешённой только проблема с книжками.

Она ломала голову, как бы их пристроить хотя бы на временное хранение хоть куда-нибудь, раз деть некуда? Не печку же ими топить, и тем более, не в дом тащить, ни в сарае оставить. На первое у неё бы рука не поднялась, в доме сложить просто некуда. Спаленка крохотная, у стены шифоньер стоит, рядом кресло и столик с вязаной узорчатой скатертью, в уголке у окошка — цветок в кадучке большой, заморский фикус — вот и всё, самой повернуться негде, куда ж там ещё книжки впихнуть?! А в сарай книги определить значило, что они отсыреют, попортятся, а покойница этого и боялась больше всего. Как раз в память о ней и невозможно так было поступить. Думала-гадала Томка, и так и эдак, а ничего придумать не могла. Ей и стеллажи все наследники отдавали вместе с книгами бесплатно, лишь бы с рук сбить и дом освободить от книжных залежей. Но стеллажи-то тоже куда ставить? В комнате стенка стоит, в ней Томкина гордость — посуда красивая, а на стенах — картины. Стеллажи разве что вместо стенки поставить, да если картины загородить, и ещё ковёр снять со стены, тогда, может, и встали бы, а так — нет.

Мучилась-мучилась, но придумала. Внутри-то стенка наполовину пуста, приданое там раньше для дочерей копилось, а теперь всё справила, место и освободилось. Велела соседкам, которые пришли помочь, таскать книги и стопками в шкафы укладывать, но и трети не перенесли, а всё свободное место было занято. Она своё барахлишко переложила ещё раз, уплотнила, десятка четыре книжек впихнула, но дальше уж стало совсем некуда складывать. Тогда Томка решила их в спальне на шифоньер прямо в коробках взгромоздить. Шифоньер-то у неё крепкий, дубовый, из цельного дерева, и не такое выдержит. Поместилось на нём шесть коробок из-под лапши, набитых книжным добром. Оставалось ещё четыре коробки, и деть их было уже совершенно некуда.

На время, пока только на месяц-два, не больше, как ей казалось, Томка решила пристроить их в предбаннике. Чуть ли не сделка с совестью получалась, до того против души было это решение, но она утешала себя тем, что в предбаннике чисто, а бельё она на улице сушит. Понадеялась, что если каждый день будет проветривать, то ничего страшного с книжками не случится. В бане Томка подтапливала раза три в неделю, чтоб всегда была тёплая вода умыться-ополоснуться после работы. Дров много, можно и лишний раз подтопить, тогда ещё суше будет, лучше для книг, не отсыреют. И ещё засушила под лавку таз с извёсткой, чтобы впихивала влагу. И всё вроде продумала, предусмотрела, но просчиталась насчёт баньки, да ещё как.

Когда она Шабашника выгнала, ему мыться стало негде, и соседям, которых, прости господи, тот не в добрый час послал, тоже. Понятно, они стали к ней проситься в баньку, но она не пускала. Попытались втихаря поздно вечером мыться, не зажигая света, но она поймала проходимцев, потом ещё раз, гоняла лопатой и материла на чём свет стоит. Они больше не совались. Даже на Новый год всё было тихо, а как отпраздновали и те, у кого работа, пошли работать, эти ещё пуще прежнего стали пить, пока до “белочки” не допились. Забрали их в больницу всех разом, Томка только тут и расслабилась.

Лишь спустя месяц вернулся Шабашник на пару с одним из братьев, другого ещё не отпускали. В доме не топлено, а они с дороги продрогли, больше трёх часов простояв на трассе в ожидании попутки. Решили по трезвому делу навесить соседку, чтоб хоть чуть-чуть успеть согреться до того момента, пока в очередной раз не будут выдворены с позором. Лёнька ещё питал тайные надежды на возвращение и надеялся, пожаловавшись Томке на свою незавидную участь, которая теперь с каждым днём только усугублялась, пробудить в ней прежнее к себе отношение. Ну, пришли, а Томки дома нет. Она в амбулаторию пошла. Потоптались-потоптались и двинули обратно, в свой “ледник”. И ведь по пьяному делу сроду б не заметили, что баня топленая стоит, а тут, надо ж те, почувяли как-то. Ну, зашли, вроде как погреться, закурили, а пепел решили стряхивать в мьльницу. Отогрелись, бедолаги, да до того, что заснули на лавке в предбаннике, не затушив сигарету. Хотя, может, занавеска краем в пепельницу попала, потому как потом, разбираясь

в причинах пожара, Дорохов, участковый, точно установил, что загорелось как раз в том углу, где мыльница с пеплом стояла на подоконнике. Там, рядом, сдвинутая в одну сторону, к мыльнице как раз, висела жёлтая занавеска, от которой один обгоревший клочок на проволоке сверху и остался. Внизу, у окна Томка составила коробки с книгами. Обгорели они порядком, книги по большей части пострадали.

Не усни Лёнька с соседом тогда, обошлось бы. Воды в бане у Томки — залейся, потушили бы быстро, но когда огонь вспыхнул, охватив коробки с книгами, оба вместо того, чтобы схватить с плиты бадью с водой и плеснуть как следует, выскочили на улицу и, черпая руками снег, начали бросать его в предбанник. К этому времени от коробок вспыхнуло висевшее на гвозде у двери полотенце, потом старое мочало на гвозде рядом, от него — бумажные обёртки мыла “Весенний ландыш”, уложенного над косяком входной двери. Алкаши, благо, что были трезвыми, всё ж таки кое-как огонь потушили, сообразив насчёт бадьи с водой, тут же быстро смылись и где-то спрятались.

По пути домой, едва успев завернуть за угол соседского дома, Томка поняла, что что-то случилось. У её забора топтались соседки, ворота были открыты настезь, а во дворе наблюдалось какое-то движение. Она прибавила шагу. Сердце заколотилось от нехорошего и тревожного предчувствия.

— Выключила ж и свет, и воду, и газ. Дом заперла, ворота тоже. Баню... А-а-ах, ворона! Баню открытой оставила, ну и так чего? Неужель эти спиногрызы вернулись? — осенила её догадка. — Они, заразы! Кроме них некому.

Томка влетела во двор и помчалась к бане. Там метались трое — сторож магазина Колян Иваныч, Алёнин Санька и Илюха Картохин по прозвищу Синяя Борода. Лопатами они бросали снег в предбанник, а оттуда валил клубами дым, тут же, на пороге, разделяясь на несколько потоков, растворяющихся в морозном воздухе. Мужики были без фуфаяк, которые валялись рядом в снегу. Увидав Томку, она заорала:

— Куда ты носило, дура?!

— Я, я, я... Чего это... Тут всё выключено было, — завопила Томка, в ужасе шарахаясь от клубов дыма, но пытаясь заглянуть в предбанник.

Из-за угла бани показалась Дашка.

— Ты видала кого? — кинулась к ней Томка.

— Кого? — не поняла та.

— Может, Лёнька вернулся или эти? — орала Томка, не помня себя от накотившего ужаса.

— А-а-а, этих... Нет, не видала. Погоди, прошёл кто-то по дороге, когда я в уборной сидела. Кто? А шут его знает, не видала, один разговор слышала. Двое, вроде.

— Куда шли-то?

— А шут их знает, не видать было. Часов в двенадцать, в час ли дня... Около того. Шли, разговаривали. Вроде, в твою сторону подались.

Тут только Томка догадалась посмотреть у забора. И точно, свежие следы поверх пушистого, только утром выпавшего снега, были протоптаны в сторону соседей.

Что случилось в Томкином могучем организме, взрыв ли гнева, или торнадо самой разрушительной силы, неизвестно, но было это что-то страшное. Оно выплеснулось из неё потоком неуправляемой ярости, отпечатавшись на лице багрово пылающими пятнами. Томка выхватила у одного из мужиков лопату и, как бревно, уносимое бурным потоком вешних вод по реке, ринулась к соседям, перевалившись прямо через калитку, наполовину занесённую снегом. За ней устремились и остальные.

Дверь в дом была закрыта. Томка ударила по ней несколько раз лопатой, потом ещё и ещё раз, но внутри никто не отозвался. Она отошла, постояла в растерянности, и пошла обратно, внимательно глядя себе под ноги. Следов было вокруг теперь много, и рассмотреть те, что протоптали к дому её заклятые враги, было уже невозможно. Томка развернулась и с ещё большей неустрашимостью решительно пошла обратно. Она снова стала бить по

двери лопатами, а потом навалилась плечом. Подоспевшие мужики и соседка, тыча пальцами в небо, спешили к ней:

— Том, дыма-то нету, видать, не приехали.

— А следы?! — вся красная от напряжения и охватившего её бешенства, прошипела Томка.

Через пару минут, когда стало понятно, что приступом дверь не взять, даже вмятером, Томка сдалась. Она грохнулась на пороге и начала так ругаться, проклиная бывшего сожителя и алкашей-соседей, что со всей улицы бежался народ.

— Вот ведь какие, а? — орала Томка в сердцах, не жалея глотки, не способная в этот момент контролировать ни себя, ни свою неуправляемую в состоянии возмущения натуру. — Этого, алкаша, прощ-щ-щельгу, пригрела... Кормила-поила, а он снохался с этими отморозками, чтоб им самим стореть! Чтоб у них печёнки полопались от водки!

Она орала, не замечая никого вокруг, руководимая лишь прорвавшейся своей запоздалой ненавистью. Тут из-за угла показался участковый Дорохов. Ему на ухо что-то торопливо тараторила Дашка, а он сурово и внимательно смотрел перед собой, и, расчищая себе путь среди толпы, руками делал жесты, означавшие "правее-левее". Томку бросились поднимать мужики, и она, увидав Дорохова, стала сама подниматься, опираясь на лопату.

— Вот, говорила, что будут одни беды с этими бесшабашными, — запнулась она, вдруг поняв, что последнее слово удивительно точно отражает Лёнькину сущность.

"Какой он Шабашник, он Бесшабашник?!" — промелькнуло у неё в голове, и, упав на грудь Дорохову, со слезами Томка стала орать ему в лицо всё то же самое, что она кричала до сих пор, сидя у запертой двери. Он постучал в окна, в дверь, но за ними и не было ни малейшего звука. Без сомнения, дом был пуст.

— Ну, кто тут будет безобразничать?! Кроме них-то некому! — не унималась Томка. — И следы... Гляньте, следы кругом. Свежие!

Дорохов обошёл вокруг дома. Но следов уже было столько от самой Томки, соседей, зевак, что разобраться в них не было никакой возможности. Участковый пошёл осматривать баню.

Из двери выходил лёгкий дымок. Внутри всё было мокрое, воняло гарью и мылом "Весенний ландыш". Дорохов взглянул, прикрыв рот платком, и почти сразу же вышел, кашляя:

— Ящички у вас с чем, Тамара Исаевна?

— Дык, с книгами! С чем же ещё?! Всё в дом внесла, распахала, а четыре коробки тут оставила, думала, что ненадолго, придумаю чего-нибудь.

— Не понял, — озадаченный Дорохов приподнял брови, — вы их на растопку, что ли?

— Какую тебе растопку?! — завопила Томка. — Это ж наследство от Зинандревны, память! Вот тут сложила временно. На месяцок-другой думала.

— Ну, что ж, — расстёгивая молнию папки, заключил участковый, — Нарушение правил техники безопасности. Книги-то, понятно, они и есть книги... Источник, так сказать, знаний, но в бане они — макулатура, пожароопасный материал. Придётся теперь акт составить.

— А как же эти поганцы? — кинулась к нему Томка. — Это ж они, заразы, натворили, кроме них некому.

— А как доказать? Свидетели есть? — Дорохов выглядел озадаченным.

— Дык, почём я знаю, меня дома не было, искать теперь надо этих... Вот и займись да допроси, твоя работа, — требовала Томка, наступая на Дорохова.

Пятак в сугроб, тот пытался возражать, но быстро сдался и решил подождать неблагоприятных соседей у их дома. Томка с бабами кинулась разгребать в предбаннике, выкидывая на снег обгоревшие и мокрые книжки, тряпки и полотенца.

Доказать так ничего и не сумели. Вроде и ясно всё, как день, что они, а как? Слава богу, баня сильно не пострадала. Отмыли, просушили. Книжки

уцелевшие пришлось затащить домой, тоже сушить долго, чистить. Покоробились многие, вид потеряли. Томка чуть не плакала, что память о Зинандревне не сохранила, сложила их в другие коробки и поставила в комнате у простенка. Теперь их приходилось каждый раз обходить, чтобы выйти на кухню, но пришлось и с этим смириться.

После того, в самые морозы Томкину поясницу сковал радикулит. Это с ней каждый год само собой приключалось, было в порядке вещей, а тут ещё и нервы, переживания — не зря же говорят, что все болезни от нервов. Участковую больницу у них закрыли, врача сократили, так что лечились теперь дома. Алёна ставила уколы вольтарена и реопирина, но всё лечение словно прошло мимо Томкиной болезни, ничуть спине не полегчало, и в начале февраля та выписала её направление в районную больницу. Ехать надо было девятьюстами километрами, и местные туда чаще всего не доезжали из-за неотложных и бесчисленных дел, плохих дорог, нехватки транспорта и бензина, или просто когда уж больше незачем становилось. Вот и Томка не поехала. Разве оставишь дом, когда рядом такие соседи?! После пожара она стала ещё боязливее и подозрительней. Решила терпеть, ведь вечно же болеть не будет, когда-нибудь пройдёт. Вот только время шло, а боль всё не оставляла. Поднимется бедная баба с утра кое-как, перевяжется шалью поперёк спины и потихоньку дела делает. Только какие уж тут дела?! Выходило у неё одно расстройство, сдобренное болью, слезами, непрекращающимися мучениями. Ни картошки из погреба достать, ни капусты, а до магазина вообще не дойти.

Страдала Томка, страдала, телевизор смотрела целыми днями от того, что лёжа на диване, что ещё делать-то? Даже вязать, и то не получалось. Надоел телек через неделю так, что она его включать перестала, а бока и спина от лежания налились как свинцом, тоже болеть начали. Алёна зашла, говорит:

— Раз в районную больницу не едете, то хоть двигайтесь как-нибудь, лежать ещё хуже.

А как двигаться?! Чуть наклонится — прострел, чуть повернётся — опять, и стонет. Ковыляла, приспосабливалась, единственное, что могла — в кресле сидеть, боль в этом положении как-то отпускала. Покряхтит, помучается, усядется, поплачет, зато потом отдыхает от боли хоть некоторое время, пока снова дела не позовут. Сидеть-то тоже просто так не будешь, по сторонам таращиться. Ну, фильм посмотрит, ну, новости послушает, а потом выключит телевизор, благо, что пульт под руками, и опять сидит — невозможно — она ведь сидеть не привыкла.

Алёна, говорит, ну, хоть книжки читайте, у вас их теперь много, чем ещё себя занять? Томка сначала, мол, ну их, а потом задумалась. Если их столько понаписали, и читают люди, может, и правда, там чего интересного есть, или полезного. Говорит Алёне:

— Встань-ка на стул, милая, глянь там, в коробках на шкафу, выбери чего поинтересней.

Та полезла. Вытащила целую стопку книг, разложила у Томки возле кресла.

— Вот, — говорит, — “Анна Каренина”. Я, помню, в школе плакала. Жалко её всё равно.

— Анну?! — ещё сильнее вытаращила глаза Томка. — Как же её жалеть?! Ты в своём уме? Мужика бросила. Богатого! Ребёнка бросила! С халхалем ускакала, дитё от него прижила, вот ведь стерва! Правильно, что этот, под поезд её, этот, ну, писал который... Как его?

— Толстой Лев Николаевич.

— Ага! Правильно он её под поезд... Я жизнь прожила — знаю. Распутство это, вот что. И оно до добра не доводит.

— Так она же из-за любви, — попробовала заикнуться Алёна, продолжая раскладывать книжки, но Томка как с цепи сорвалась:

— А-а-а... По любви, значит. Да чего ей, бесстыжей, не хватало?! Мне б за таким мужиком хоть недельку пожить, а? Ведь с жиру бесилась баба:

“Хочу чего-то, сама не знаю чего?!” Вот про неё и весь сказ! В экипажах развезжала, на балах плясала, в платья рядилась... Чего ещё-то?! Нет, любовника подавай! С жиру оно, точно говорю тебе, с жиру!

Томка застонала, поёрзала в кресле и хотела продолжить, но Алёна её опередила:

— Я так думаю, Тамара Исаевна, вы перечитайте, а потом поговорим.

— А я и первый раз читать не стану, — сурово глянула на неё Томка и отвернулась.

Правда, она тут же поняла, что погорячилась. Повернулась она ровно настолько, насколько ей могла позволить больная поясница, и хоть это было совсем на чуть-чуть, Томка тут же, ойкнув, вернулась в исходное положение. Страдающая поясница не желала терпеть подобных вольностей и отозвалась прострелом.

— Так вы что же, не читали?

— А на черта мне такое читать?!

— А как же вы тогда рассуждаете?

— Так, я кино как-то ещё в молодости видела. Знаю, чего там к чему.

— Как же так?! Не читали, а говорите, да ещё ругаетесь, вот так, голословно?!

— А ты сама-то читала?

— В школе ещё, но от корки до корки. И, отлично помню, мне очень тогда понравилось. Моё сочинение Зинаида Андреевна, знаете, как хвалила. Пятёрку поставила и сказала: “Очень хорошо”. Кстати, можно и перечитать как-нибудь.

— Да когда тебе?! Дом, детишек двое, хозяйство, работа...

— Соберусь как-нибудь, зима длинная. Было б желанье.

— Ну, раз так, вот и забирай. Положи на видное место, пусть глаза мозолит. Глядишь, возьмёшься когда-нибудь за неё, а я эту лабуду читать не стану, — прокряхтела Томка, — мне лучше вон ту, которая в красивой обложке дай.

— Чехов, — протянула фельдшерница.

— Вот бабай! Всё тот же малахай! Не надо, — махнула головой Томка. — Ну-ка, ту, рядом которая, подай. Это чего?

— “Пётр Первый” Толстого, — протянула Алёна толстую книгу.

— Опять Толстой. Убери, не надо мне его.

— Это другой.

— А-а-а, — протянула Томка, и, чтобы загладить неловкость, взяла книгу.

Она выглядела внушительно, и была довольно увесистой.

— Нет, тяжело держать, неудобно, в спине отдаётся. И потом, что один Толстой, что другой — мне они на один манер. Дай-ка чего полегче.

— Может, почитаете рассказы Тэффи. Книжка маленькая, и они смешные, — предложила Алёна, вложив её в руки миниатюрную книжечку, которая утонула в Томкиных ладонях.

На яркой обложке красовался симпатичный женский воротничок. Томка рассмотрела внимательно обложку, покрутила в руках книжку:

— Рукоделие что ли?

— Нет, рассказы, — улыбнулась Алёна.

— А чего ж они на обложке воротник нарисовали? Это ж не журнал по вязанию или по шитью. Очки подай.

Нацепив очки, она открыла книгу и прочитала вслух:

— “Жизнь смеётся и плачет”. Ага... Хорошее название. Хотя, она, зараза, всё больше над нами издевается эта жизнь. Ну, да ладно, бог ей судья, слушай, — и приготовилась читать вслух, но Алёна поспешила уйти.

Запойное чтение

Томка уставилась в книжку. Такое читать ей понравилось: напечатано крупными буквами, картинок много и прямо как в журнале “Крокодил” когда-то, одна смешнее другой. Рассказы действительно развеселили, особенно

понравилось про то, как семья разговлялась и про Катеньку, и про тот вот-ротничок, что был нарисован на обложке. Рассказ этот про Ольеньку, у которой из-за нового воротничка вся жизнь пошла по наклонной плоскости, Томку порядком и рассмешил, и взволновал, даже настроение поднялось, но в конце немного расстроил. Она вспомнила про своих дочек, поругавшихся у неё на глазах из-за сумок, у кого лучше, и подумала, что молодёжь теперь такая пошла, которая и правда из-за подобных безделушек может себе всю жизнь испоганить. Падкие больно стали на дорогую мелочёвку. Дочки её тогда так пооссорились, что видется и звонить друг дружке перестали, пришлось обоим писать письма, а после уже тут, дома, как приехали навестить её, мирить их с горем пополам. А ведь родная кровь! И было б из-за чего?!

“Разве ж можно из-за этакой ерунды с родной сестрой насмерть перегрызться, а? Вот ведь как, — думала Томка. — Приедут, сядут и начинают рассказы, кто чего купил, у кого что лучше, будто и живут только для того, чтобы было всё у них не хуже, чем у других. А ты подумай сначала, дурья твоя голова, надо оно тебе-то? Другой, гляди, умрёт без этого, а тебе оно что хвост, ладно бы ещё не мешал. Глядишь, нацепит на себя, идёт, мучается, а терпит, чтобы, значит, не хуже быть. Или у одного денег деть некуда, он и скушает всё самое дорогу-щ-щ-ее, а другой тянется, в кредиты лезет, а туда же. Купит, а самому и жрать потом нечего. Мы тоже покупали ковры, хрустали, цепочки золотые, но всё больше думали, что на чёрный день, да чтобы детям потом оставить. Берегли, а эти так — сегодня одно, завтра другое, и ведь не самое необходимое покупают в первую очередь, как раньше, а вот эту мишуру всякую. Ольга моя, вот глупая-то, телефоны то и дело меняет, каждый по пятнадцать да по двадцать тыщ, а сама на голодном пайке сидит. Говорит, мол, худею, поправилась, надо в форме себя держать. Дураку ясно, что с её зарплатой не разбежишься, вот и экономит на всём, лишь бы телефон последней модели был. Можно подумать, что с ним прям сразу королева, ага?! То-то и видно, чего-то кавалеры богатые не больно клюют: то шофёр всё к ней клеился один, потом охранник, а щас и вовсе не пойми кто, бармен какой-то, хрен его знает, кто? Глупая думает, что если за душой ни гроша, так хоть бросить пыль в глаза этой игрушкой. Они-то, поди, тоже не дураки, глядят, как одета-обута, да где живёт, кем работает? Опять же с образованием или нет? Не обманешь...”

Рассказы заставили Томку кое о чём задуматься, но и насмеялась всласть. Одна беда оказалась, что смеяться было невозможно, больно, и Томке в особенно смешных местах приходилось даже сдерживаться, чтобы не расхохотаться. Читала она до самой ночи, даже поужинать чуть не забыла. Когда желудок запросил пищи, часов уж в десять, она немало удивилась, что так зачиталась.

С этого дня пошло у неё чтение. Встанет, быстренько сварит чего попроще, поест, чайку выпьет, в сарай с Дашкой сходят, по хозяйству приберутся, и Томка падает в кресло — от боли немного отойти и читать. Часов до пяти читает, потом расшевелит себя через искры в глазах, доползёт до кухни, доест, что осталось, в сарай сходит кое-как, и снова читать, уже до ночи, до самого сна. И так Томке от этого чтения стало хорошо, что и выздоровление, вроде, быстрее пошло. Когда Алёна зашла к ней дня через четыре, то нашла её в отличном расположении духа и двигающейся куда шибче, чем прежде. Томка позвала её попить чаю и за столом с благодарностью в голосе выдала:

— Ох и дело ты мне придумала, прям, можно сказать, почти вылечила. Ага! Беда только, что больно-то не посмеёшься. Я ж всю книжку прочитала, а то и по два раза некоторые рассказы. И про неё прочитала, про писательницу. Ох, хороша баба! Видать, весёлая была, прям как я. В Париж уехала, ну, когда революция-то случилась, так и там не пропала. Талант! Уж скажет, так скажет! Ни убавить, Алёнка, ни прибавить. Ты это... там, глянька, ещё чего от неё-то нету в коробках, я б почитала. Знаешь, ведь как: когда хорош бабай, то к лицу и малахай! — расплылась она в улыбке, которая означала, что фельдшерницу Томка искренне и от всей души уважает, причём, и как медработника, и, как человека, разбирающегося в литературе.

Та снова полезла на стул, порывлась в коробках и вытащила ещё одну книжку Тэффи, рассказы Зоценко и “Двенадцать стульев” Ильфа и Петрова. Проводив её, Томка погрузила себя в кресло, и, обложившись подушками, углубилась в чтение. На этот раз книжка была про любовь. Томка зачиталась пуще прежнего, и когда пришла Дашка, принесла хлеба и сахару, кое-что даже прочитала ей вслух. Бабы всплакнули, почитали ещё, и соседка пошла к себе, вспомнив про любимый сериал с опозданием. Томка сериал включила, но посмотрев минут пятнадцать, выключила. Читая, она остановилась на интересном месте, и её так и подмывало узнать, изменит ли мужу героиня, или всё же устоит перед настойчивыми ухаживаниями другого воздыхателя. В сериале же, который тоже был вроде как про любовь, видимо, как раз настало самое время, когда у героев на пути друг к другу должны были возникнуть всяческие препятствия... Серий эдак на сорок-пятьдесят, как подсказывал Томке опыт, накопленный ещё с “Рабыни Изауры”. Поскольку препятствия, похожие друг на друга, как правило, кочевали из одного сериала в другой, интерес ко всем этим надуманным бедам у неё давно иссяк. Они с Дашкой смотрели этот сериал уже второй месяц, и поначалу он их даже захватил, но ненадолго. Благодаря этому же опыту уже почти с математической точностью Томка могла предсказать, ну, если задаться такой целью, в какой серии появится злыдня-разлучница, в какой героя станут разорять конкуренты и когда кинут свои “товарищи” по бизнесу, ну, и так далее... Она уже чуяла, когда героиня, которая и на больничной койке была при полном параде и с причёской, узнает, что больна неизлечимой болезнью, когда она потеряет ребёнка, вдруг излечится каким-нибудь чудодейственным средством, потом снова забеременеет, и когда возлюбленные, наконец, будут вместе, претерпев ещё десяток-другой чудовищных испытаний, с каждым разом становящихся всё более непреодолимыми. В общем, всё там было ровно так, как она любила повторять: “Мухи дохнут, а жизнь продолжается”. Только вот, одна беда, жизни-то в этих бесчисленных сериях как раз и не было.

“Брешут всё! — думала Томка, выключая телевизор после очередной серии. — Звон один да канитель. Туда-сюда, туда-сюда, а к чему всё?! Лишь бы время протянуть. Да ещё рекламы понавтыкают каждые пять минут, чтоб они сами этот чай пили и в тех банках кредиты брали! Ну, невозможно ж глядеть, то памперсы, то шампунь, то таблетки. Там и так глядеть нечего, а они ещё со своей агитацией. Сколько б ни кричал бабай, что хорош малахай, а у каждого и своя голова на плечах имеется, каждый сам кумекает, надо оно ему или нет”.

В книжках, как оказалось, написано было куда интересней, и про самую что ни на есть настоящую жизнь. Всё была правда — смешная и грустная, от которой у неё то слёзы наворачивались, то прорывался смех, и телевизор вскоре она включала уже реже, только чтобы узнать, что в сериале происходит. Сериал назывался “Несокрушимая любовь”.

Когда Томка поправилась, дом её пришёл в такое состояние, что потребовалось больше недели, чтобы вернуть ему прежний аккуратный и ухоженный вид. Попутно она осуществила будущую стирку с кипячением полотенец и глажкой и побелила печку. Печка, впрочем, могла спокойно подождать до апрельской основательной уборки, но Томка была б не Томка, если бы такое допустила. Устала она, конечно, страшно, пару дней отлёживалась, но собой осталась довольна. Лёжа на диване, она, между тем, продолжала читать, поглядывая с пятого на десятое сериал, но всё ж в основном читала. Она таки решилась открыть “Анну Каренину”, а открыв, прорвалилась в неё с головой.

Сначала она всплакнула над проклятой судьбой бедной Долли, которой сочувствовала всем сердцем и с трудом сдерживала себя от того, чтобы не броситься душить Стиву Облонского, руки у Томки так и чесались. Потом, пытаясь понять мотивы поведения Анны, она пережила бесчисленное множество всяческих эмоциональных состояний от величайшего к ней презрения до безоглядной жалости. Всякий раз она ловила себя на мысли, что, чёрт возьми, какие же мы, бабы, всё-таки дуры, что мужикам верим, и, главное,

готовы бежать за ними куда угодно, будь то хоть усадьба в глубинке, хоть палатка в поле.

Её просто очаровала сестра Долли Кити Щербацкая. Однако, дочитав третью часть, она окончательно и непоколебимо утвердилась в том, что бабы — дуры, причём, дурищ-щ-щ-и. Ведь такой мужик вокруг неё ходил! Во всех отношениях толковый, с поместьем, непьющий, по бабам не шастающий, всё о ней одной мечтавший, а она... И сказать нечего — дурища! Втюрилась в этого Вронского, который жениться на ней и не собирался. Чуть счастье своё не проморгала. В свете этих событий Томка с особым воодушевлением прочла четвёртую часть. Пятую главу перечитала дважды, с упоением, смакуя сцены, в которых Анна и Вронский признавались друг другу в любви. Она никогда не видела в сериалах ничего подобного, и была потрясена до такой степени, что читала, читала, читала и не могла остановиться. К чтению шестой части Томка подошла с полной уверенностью в том, что Кити так и останется несчастной, но была приятно удивлена, когда узнала, что у девушки всё же жизнь сложилась, да ещё самым лучшим образом.

“Вот как же хорошо, устроилось всё, слава богу, — радовалась Томка. — Вышла замуж, и всё ж таки за Лёвина, а не за этого... ой, ну его. Лёвин-то муж что надо: хозяйственный, работающий. И жить есть чем, и ребёночка бог послал. Мальчик — наследник! Повезло ей. Глупая, конечно, была сначала, но ей простительно, потому что молодая, жизни не знала. А с этим ей хорошо будет, он порядочный, не обидит и изменять не станет, а ребёнка, Алёшеньку, как любит-то... Читать одно удовольствие”.

Правда, многостраничные рассуждения Лёвина о жизни и всяких там высоких материях Томка пропускала, потому как это ей виделось пустым и непонятым. По её представлениям, мужик должен иметь ум простой, дельный и лучше, чтоб покладистый, безо всяких там лишних мыслей, от которых только одни проблемы. Ей всё время хотелось стукнуть чем-нибудь этого Лёвина по башке и сказать, чтоб не морочил голову ни себе, ни людям, так-то оно вернее и спокойнее, чем ходить, всё чего там себе выдумывать, а потом терзаться сомнениями, опасениями, догадками... А ведь ему всего-то и требовалось, что поскорее жениться и сделаться по этой причине счастливым, но он, вот ведь какая голова баламутная, и после свадьбы, к великому Томкиному неудовольствию, понапридумывал себе всяческой ерунды, из-за которой и себя самого уже боялся. Надо ж ведь до такого додуматься, чтобы ненароком не повеситься или не застрелиться?!

“Ну, не дурень?! — возмущалась про себя Томка. — Вот, чего ещё надо?! Жил бы, добра наживал, радовался, а то всё чего-то ходит, ходит, думает и думает... Так и свихнуться недолго!”

Зайдя впервые после выздоровления в магазин, Томка случайно встретила Алёну. Схватив её за рукав пальто, Томка потащила её на улицу.

— Слушай, — захлёбываясь от нетерпения, оглядываясь по сторонам, тихо, но восторженно и быстро шептала она ей на ухо. — Ох, и сильная вещь! Заходи вечером, посидим за чайком с травками, расскажи тебе, ведь я про Каренину теперь всё знаю. Ох... Так-то бывает. И не думала, а оно во как!

Алёна рассеянно улыбалась, обещая зайти как-нибудь, а про себя с удивлением отмечала в Томке перемену, очевидно пошедшую ей на пользу. Причём, чувствовала свою причастность к этому, и, главное, ей почему-то нравилось такое неожиданное Томкино преобразование, очень нравилось. Алёна привыкла лечить людей, помогала, чем могла, а порой и просто слово доброе им несла, но тут... Это странное, новое чувство она испытала впервые и не могла его определить. Понятно было одно, что в этом странном случае она не просто вылечила или поддержала, а прямо-таки направила человека на верную дорожку, научив чуть ли не дышать по-новому, по-другому. Она не знала, как объяснить это превращение, не могла этого сделать, не узнавала Томку, да та и сама себя не узнавала. А уж когда Томка призналась, что чуть только боль в пояснице мало-помалу отступила, первым делом не полы бросилась мыть и снег во дворе расчищать, а перебрала все коробки, вытащила и сложила на столе и на табуретке книги, которые собиралась теперь прочесть.

Алёна сначала не поверила, а зайдя в гости, поразилась тому, что увидела. На столе ровными стопками действительно были разложены книги в строгой очерёдности, что за чем читать. В первую очередь то, что про любовь. В этой стопке лежали “Воскресение”, “Джейн Эйр”, “Гордость и предубеждение” и “Евгений Онегин”. По совету Алёны Томка прибавила к ним “Олесю”, “Мадам Бовари” и “Бедную Лизу”. Во второй стопке она собрала то, что Алёна советовала прочитать раньше: “Барышня-крестьянка”, “Дамское счастье”, “Дама с собачкой” и “Милый друг”. В третьей стопке были книжки про деревню и жизнь сельских людей, природу и животных — “Привычное дело”, “Кладовая солнца”, “Угрюм-река” и “Не стреляйте в белых лебедей” — всё, чего Томкина чуткая душа требовала, жаждала, и от чего становилась ещё податливее, мягче и чем успокаивалась. На этом она пока решила остановиться, хотя в коробках ещё много чего интересного её ожидало, но и спешить не хотелось, потому как человек так устроен, что любое удовольствие ему непременно хочется растянуть. Каждую книжку она обмусоливала со всех сторон, непременно стремилась обсудить, перечитывала кое-что из тех мест, на которых сердце ёкало, или разливалось по нутру щемящее припекающее тепло, или же, наоборот, места, вызывавшие бурю негодования, а то и взрыв чего-то залежалого, дремлющего много лет внутри.

Томка теперь жила по новому для себя расписанию жизни, в котором не всё, конечно, но многое было подчинено чтению. От работы по дому и по хозяйству ведь никуда не денешься, но всё ж часок-другой выкроить вечером получалось. Иногда, правда редко, удавалось почитать часок и днём, перед обедом. Примерно около двенадцати дня, когда яркое морозное солнце заливало комнату густо-жёлтым весёлым светом, приходилось, с трудом оторвавшись от книжки, идти топить печь, быстренько чистить и шинковать лук и картошку, срочно доваривать обед, и спешить во двор. Покопавшись и напоив всех в сарае, после обеда сама и продолжала череду своих бесконечных дел уже до наступления темноты. Вечером всё повторялось: сарай, всех напоить-накормить, запереть на ночь, попить чаю с хлебом, маслом и повидлом, умыться, разобрать постель, но пока не спать. Выключив везде свет, прикрыв немного трубу в печи, Томка укладывалась, снова читала при свете бра, которое специально купила и повесила над головой на стене. Читала она до тех пор, пока сон не заслонял её сознание, и, беспокоилась лишь о том, чтобы, засыпая, выронив книжку, успеть, сделав последнее усилие, дернуть бра за шнурок.

Засыпала она по деревенской своей привычке быстро и глубоко, словно проваливалась куда-то, а просыпалась, будто очнулась от чего-то. Она недолго ворочалась, разминая спину, шею и поясницу, и спешила выполнить обычный порядок дел, чтобы снова наброситься на чтение и окунувшись в него с головой, прожить новый день.

Томку теперь удивляло, что если раньше зимние дни были похожи один на другой, и текли одинаково скучно и однообразно, то теперь каждый был особенным. Дела она делала шустро, ловко и, несмотря порой даже на тяжесть работы, без особенного напряжения. Тут сказывались привычка, сноровка и покорность этому многолетнему каждодневному труду, который суть и само содержание деревенской жизни. В нём, обычном и привычном, Томка находила для себя приятную потребность. Этот труд был ежедневным, но одновременно растягивался во времени на всю жизнь, составляя тем самым основу каждой её минуты. С ним, неизбежным, предсказуемым и необозримым, и жизнь казалась бесконечной, предопределённой и небесмысленной. Он требовал самоотречения, а воздаянием за него было ощущение необъятности и неисчерпаемости жизни, безбрежности берегов того пространства, которое называется долговечностью всего сущего, того, что определяет одновременно и нескончаемость, и скоротечность бытия.

Другое дело чтение. Оно выносило Томку на такие горизонты, что она, не лишённая воображения, видевшая красоту даже там, где, казалось бы, её нет и в помине, начинала понимать, что в мире, оказывается, есть столько всего ею не познанного, непонятого, непрочувствованного, потому как оно просто ещё не прочитано. Она с упоением читала про балы и ухаживания

кавалеров за дамами, про мазурку и шуршание платьев, про тайные свидания и любовные письма. У неё даже созрело вполне чёткое представление об этом, и первое, что она сделала, закрыв том “Анны Карениной”, — начала читать “Дворянское гнездо”, потом “Три сестры”, “Асю”, “После бала”... Томка наслаждалась описаниями роскоши и великолепных танцев, тут же рыдала вместе с героинями, разочаровавшимися в любви, и проклинала мужчин. Она ни разу в своей жизни не была на балу, но, начитавшись, теперь уже начинала сомневаться в этом. Вспоминала свой выпускной, потом выпускные вечера дочерей, причёски, шлейф духов за каждой парой, лаковые туфельки, шифоновые платья, цветы... Томка не могла больше жить без этого. Она теперь знала это про себя, сидя в своём домике, занесённом снегом, затерянном среди полей. До райцентра почти девяносто километров, а до ближайшего города и того больше, но стоило лишь открыть книгу, как она возносилась к таким вершинам, что могла уже видеть перед собой разные страны, разных людей, разную жизнь, и, что удивляло её больше всего, — это было не так, как по телевизору, совсем иначе. Книги давали совсем другое ощущение жизни. Томка читала и сама творила силой своего ума и воображения тех героев и те обстоятельства, про которые вещал автор. Она словно попадала в изображённый художником мир, оставаясь невидимой, но изнутри наблюдая за всем, что там происходило, и по-своему воспринимала то, что видела. Воспринимала сама, и так, как видела только она, она сама, как чувствовала. Когда через пару недель такого запойного чтения, к ней зашла с вязанием Дашка, чтобы вместе посмотреть пятьдесят шестую серию, Томка, глянув всего каких-то минут десять, вдруг поняла, что не хочет, не желает видеть это. Она соскочила с места и набросилась на соседку:

— Ну, как можно этакое глядеть?! Это ж всё не настоящее, они же как куклы, ну, посмотри на них, разуй зенки-то. Ну, брехня же, глянь на них, ну, как у нашей продавщицы Тоньки, яблоки для украшения лежат на витрине пластмассовые, так и они. Во! Или как это... На кладбище венки из целлофановых цветов взамен настоящих. Точно. Ну, не ужель не видишь?

Дашка обиделась:

— И чё ты накинулась, как с цепи сорвалась?! Ей-богу! Ну и пускай, мне то что?! Я целый день в земле и в говне, чё, не заслужила на красивых людей посмотреть. Да я сама сроду такая не была и уж не буду, пусть хоть глаза порадуются на чужую красоту.

— Да ты почитай. — Томка схватила со стола книжку. — Вот где красота-то! Тут и на бумаге, вроде, а люди живые, не то, что в этом ящичке.

— Ох, куда загнула, — обиделась Дашка и собралась уходить, но Томка её задержала, позвав пить чай.

Чаёвничали молча. Дашка отхлёбывала из блюдца с таким видом, какой бывает у гордого, но ранимого человека, узнавшего вдруг, что о нём на самом деле думают и говорят окружающие. Томка выглядела как что-то потерявшая и долго в собственном доме ищущая хозяйка — недоумённо, раздражённо и беспомощно. Потом Дашка засобиравшись восвоясилась, и она не стала её задерживать.

Дома соседка некоторое время не могла найти себе места и тыкалась из угла в угол, да всё больше без толку. Дашкины мысли металась в голове с ещё большими зигзагами. К тому же с вопросительными интонациями у неё то и дело прорывались возмущённые возгласы, похожие на крики взбудораженной, обиженной души. Она не могла взять в толк, что случилось, и чего это Томка стала такая непонятная, и даже на неё ни за что, ни про что кидается с осуждениями и пристаёт с нравочениями. Дашку расстроило такое возмутительное и необъяснимое поведение. Засыпая, она подумала, что надо будет в самое ближайшее время попасть в церковь и Томку с собой взять. А если не поедет, то хоть молебен ей о спасении души заказать и свечку за здоровье поставить, а то этот Чисто Чёрт ещё непонятно до чего дойдёт в своих занятиях.

— И ведь как бабу торкнуло?! — удивлялась Дашка, опасаясь за соседку. — Сколько лет рядом, а ничего такого за ней не замечала. Ещё сама меня, бывало, чихвостила последними словами то за банки грязные на

штукетинах, то за мусор возле общего забора, то за... Эх, типун ей на язык, бритвословой. А теперь сидит и в книжки тычется, дома всё запустила, а скоро весна! Ползимы прокряхтела со спиной, и если б не я, то уж давно б в трубу вылетела со своим хозяйством. И ведь, нет, чтобы спасибо сказать или мне чем теперь помочь прийти, она читать взялась. Приспичило на старости лет, а?! И ладно бы, если, правда, делать было нечего, как в городе, со всеми удобствами, а то ведь делов-то, делов... Тьма-тьмушая! Всё, с меня хватит, когда её в следующий раз поясница доконает, не пойду! Ни за что не пойду! Пускай Алёна помогает, она её к этим книжкам пристрастила, ей и расхлёбывать. А я — ни ногой!

Одинокая

Томка сама не заметила, как стала затворницей. Раньше, что ни день, у неё соседки, чаепития, и сама, всем известно, любительница по гостям ходить, языком почесать и зубы на сплетнях поточить, а тут — тише воды, ниже травы. Засела дома, только и видать, что свет горит в избе, значит, живая, а так бы давно забеспокоились. Снег вокруг дома нечищенный, ворота еле открываются, ни белья на верёвках, ни движения какого, заметного, во дворе. Алёна стала к ней захакивать, к последней, уже после того, как всех обойдёт больных, так на Томкину улицу сворачивает. Ну, это поначалу никого не смутило, у Томки что ни зима, то ясное дело, — радикулит, вот и ходит медичка уколы ставить. Но так подолгу, чтоб как в эту зиму, фельдшер у неё не засиживалась, и так часто у неё и при болезнях не бывала. Выходило, что свои, бабы какие-то у них дела, домашние. Думали, может, вяжут или пьют, друг дружке помогают советами, они обе рукодельные, или ещё чего. Томка своими руками много чего умеет, и хоть и с гонором баба, а объяснить может, научить чему — за милую душу. И так бы все и думали дальше, но когда углядели, что Алёна стоит у стола и с Томкой ругается, машет руками, да ещё чего-то в руке держит и трясёт у неё перед носом, то не на шутку переполошились. Ничего не поделаешь, через плохо зашторенные окна хорошо всё в зимних сумерках видится. Спросили у Алёны напрямую, что за дела у них, а она ничего лучше не придумала, как ответить, что они книги покойной Зинаиды Андреевны читают и потом про них разговаривают. Вот смеху-то было. Только Алёне не пришлось посмеяться. Санька, муж, как узнал, чем она после работы занимается, вместо того, чтобы бежать домой ужин готовить, такого ей хвоста накрутил, что дорогу в два счёта забыла.

Ну, это он зря, конечно, постановили бабы, у неё и так во всём порядок, и в доме всегда сварено, но, ведь и он по-своему прав — не дело семейной женщине пустой болтовнёй заниматься. Дома всегда дел полно, да и дети у неё только подросли, стирки на них и мытья всякого хватает. И королева ещё. Санька уж молчал, что стал находить книжки то в спальне, то у детей в комнате. Велел завязывать, блажь бесполезную кончать. Мужу Алёна подчинилась, к Томке стала ходить реже, а книжки научилась прятать получше. Главное, и придаться к ней было не с чем: встаёт, чем свет, чтоб дела переделать, детей обиходить и дом, и хозяйство, и самой в медпункт успеть вовремя. Только вечером, один-то разочек в неделю и выкроит часок, чтобы к Томке заглянуть. И не для того, чтобы пересудами себя развлечь, а чтобы поговорить про любовь, про счастье, про жизнь.

Алёну радовало, что предвзятые поначалу, недалёкие Томкины суждения удавалось опровергать, помогая ей разобраться в элементарных вещах. Она чувствовала, что эти споры и беседы, и даже порой ругань, заставляют Томку думать, мучиться и открывать в себе скрытые и невообразимые раньше мысли и представления о себе самой, о понимании жизни и о людях. Томка ведь до того считала, что то, что пишут в книжках, к реальной жизни не имеет никакого отношения. Мол, это понапридуманно и сделано либо для заработка писателям, им же как-то тоже жить надо, либо чтобы людям головы морочить. Но чем дальше она читала, тем яснее начинала понимать подлинность, глубину и правдивость того, о чём велось повествование.

Видела Алёна, как в Томкиных глазах блестели слёзы, когда она говорила о бедной Олесе, и как наливалось краской лицо, при упоминании об обманщиках-мужчинах, соблазвивших невинных барышень. А уж как краснело от возмущения лицо, когда Томка рьяно доказывала, что напрасно и, главное, ну совершенно непонятно почему и зачем автор убил героя, ведь тот только встал на путь исправления, вроде, наконец, понял, чего хочет от жизни и начал меняться, и вот, на тебе! Удивительно было видеть, что для Томки эти герои вдруг стали такими зримыми и живыми, как будто были её знакомыми. Она словно с ними по-настоящему, вот как с Дашкой или с ней, разговаривала, держала их за руки и сама им давала советы относительно сложностей жизненных ситуаций, в которых те оказывались. Умилила Томкино желание прочитать ей самые понравившиеся места, над которыми она поплакала или посмеялась, которые задели её за живое, всколыхнули воспоминания. Она видела, как эта грузная, недалёкая с виду тётка становилась совсем иной в минуты их разговоров. Её забавляло, как Томка, чувствуя свою беспомощность в попытке донести до Алёны мысль, пыталась что-то изобразить своими узловатыми пальцами и начинала материться, так и не найдя подходящего слова или не придумав сравнения.

Фельдшерница и сама чувствовала, как в ней тоже будто бы проснулось нечто, чему она не могла дать названия. Оно заставляло её, собирая по крупицам свободное время, отнимая его от детей и дома, прибегать сюда, пред Томкины очи, и слушать её то порой бессмысленный бред, а то вдруг на удивление глубокую и мудрую мысль, и замечать, что что-то в ней всколыхнулось, прояснилось, проросло. А в Томке изменилось хоть и мало что по большому счёту, но уж, по крайней мере, молоть языком попусту она стала куда меньше, и сплетни трезвонить перестала, и даже болела теперь реже, чем раньше. Одинокая, в своих занятиях она не замечала этого, наоборот, казалось, хотела лишь, чтобы её не беспокоили понапрасну, не отвлекали пустыми разговорами. Томке не было никакого дела до чьих-то загулов, покрывшихся или так и оставшихся яловыми коров, сломавших изгородь бычков, потому что это было так долго в её жизни, так предсказуемо, что она уже устала от этого, и память её устала это помнить, а нутро отказывалось это воспринимать. Ей хотелось, чтобы Катюша Маслова исправилась, и чтобы она не вышла замуж за негодяя Нехлюдова, пускай и раскаявшегося, но всё равно, и она была в этом уверена, неисправимого негодяя, которые стали для неё ближе родни. Она теперь понимала что всё и в её, Томкиной Чисто Чёртовой жизни, могло быть иначе, прояви вот также и она однажды волю. Скажи она тому, обманувшему её по молодости прохвосту, а позже по настоянию родни женившемуся на ней из-за залёта, категорическое и бесповоротное "нет", всё могло быть иначе. Ладно, у неё жизнь сложилась, но ведь Катюша, ровесница её дочерей, за что пострадала?

Алёна не смогла ответить ей на этот вопрос. Она сама теперь не знала ответов. Раньше знала, понимала, для чего живёт, и зачем и почему её жизнь устроена именно так, а не иначе. Теперь же, читая книги и раздумывая над ними, она всё чаще приходила в замешательство и из-за сомнительных поступков и устоев жизни и семьи, и из-за тех, которые описывались в книгах. Казалось бы понятное раньше, простое, житейское, обыденное почему-то вдруг становилось неоднозначным, начинало беспокоить и терзать скрытыми смыслами, не оставляя в покое, заставляя думать, размышлять. А ведь некогда, ведь у неё дети и муж, и свекровь, и корова, и дом, и работа... Но для чего ей всё то, чем она живёт и ради чего живёт, если не может разобраться в простых, вроде бы, истинах, в собственном предназначении, в вечных вопросах, которые людям ставит сама жизнь?!

Эти вопросы ей задавала и Томка, почитав Толстого или Куприна. Они порой ругались, спорили, доказывая свою, как им виделось, единственно правильную точку зрения. Однажды даже в пух и прах разругались, поссорившись на целых две недели, но потом помирились. Решили, что в жизни и так много поводов для разногласий, а тут, когда они касаются книг, надо как-то аккуратней быть. Ну, если, к примеру, соседки повздорят из-за курицы, которая по недогляду одной забралась в огород другой и поклевала,

зараза такая, помидоры, тут, понятно, есть серьёзная причина для разлада, ведь убыток какой... А с книжками-то всё куда проще — убытков нет, а значит, и проблема вполне решаемая. Надо только иную точку зрения суметь выслушать внимательно и понять, и своё мнение донести до другого человека так, чтобы и он понял. Договориться ведь при желании всегда можно, просто сложно, особенно, как оказалось, в Томкином случае. Она уж как-то слишком близко к сердцу, слишком серьёзно стала воспринимать книжных героев, страсти, которые бушевали на страницах книг, порой не разделяя действительность и тот мир, в который, читая, погружалась.

Та зима промчалась для Томки так, как в деревне обычно пролетает лето — одним махом. Так, словно залпом, как корова в жару, пьёт ведро колодезной холодной водицы. Весна свалилась на бедную бабу неожиданно, будто шутники выплеснули её на голову из ведра той самой ледяной воды. Правда, Томка не растерялась. Она привыкла теперь жить по строгому расписанию, не тратя время на пустые разговоры и походы по гостям, сериалы и сложную готовку. Питалась просто, делала всё быстро, даже спала меньше, чем раньше. Она чётко распланировала дела и всё успела сделать за четыре дня: и окна перемыла, и потолки, и печку побелила, и шторы перестирала, и постель проветрила, и уж было вздохнула с облегчением на исходе четвёртого дня своих трудов, как вдруг вспомнила про книги. Ими была забита мебельная стенка, они теснились на шифоньере в спальне, и сложенные в коробки, хранились в большой комнате, и требовали проветривания и ухода, такого, как был при Зинандревне. Томку не на шутку озадачила вся канитель, которая ожидала в том случае, если она будет следовать правилам покойной. Уж так не хотелось развозить всю эту мутову с вытаскиванием на улицу и затаскиванием обратно в дом многоотомного “наследства”, соблюдая процедуру, заведённую Зинандревной! Раскладывать было не на чем, да и ноги-то не казённые, чтоб туда-сюда шаркать через весь дом и сени, таская стопки книг. Она пыталась найти оправдания для себя и других, хотя всем остальным было всё равно. Наоборот, бабы покрутили пальцем у виска, когда она просто заикнулась о том, что, мол, вот надо бы... Как хозяйкой библиотеки заведено было... Ведь перед ней неудобно, она же мне оставила, чтоб я позаботилась, хранила и дальше то, что она всю жизнь собирала. Одним словом, заморочилась она как-то не по-бабы, не хозяйственными важными делами, а лишней канителью, по мнению соседок, и так глупой и бесполезной, а по затратам времени и сил, просто недопустимой по весне, когда и прочей работы хватает.

Томка подумала-подумала, поохала для порядку на публику, жалуясь на здоровье и недомогания, чтобы не осудили и не упрекнули в неблагодарности и в безалаберном отношении к полученному наследству, и на этот счёт замолчала. Не стала книжкам, а прежде всего, себе, такой канительный променад устраивать. Сходила в церковь, свечку за упокой “благодетельнице” поставила, молебен заказала, службу отстояла и успокоилась.

Последняя “гастроль” Крота

Весна миновала быстро, лето — ещё быстрее. Закружило-замотало Томку сенокосом, картошкой, огородом, скотиной, птицей, заготовками на зиму... Читать стало совсем некогда. Работа кипела, она вся в ней увязла, даже в баньке, и то по-быстрому, уж, перед сном успевала сполоснуться и — в постель. Усталость так одолевала, мгновенно, что Томка наутро не могла вспомнить, как на подушку голову вечером положила.

Правда, больше всего угнетало, что не находилось даже минутки, чтоб книжку в руки взять. С каждым днём, отдалявшим её от последней прочитанной книжки, Томке становилось всё яснее, что без этого дни её, хоть и наполненные работой, пусты и, главное, ей всё менее и менее интересны. Порой возникало непреодолимое желание всё бросить, послать... и, усевшись в кресло прочитать хоть пару страниц, а лучше перечитать что-нибудь из любимшегося. Это могла быть сцена прощания Татьяны с Онегиным, или объяснение Джейн Эйр с Эдвардом Рочестером, который, стыдясь своего

уродства, не решается предложить девушке стать его женой, а ещё лучше — любимая глава из “Карениной”, которую Томка могла смаковать бесконечно. Томкина непримиримая натура пару раз даже сдавалась, и она, действительно, подоив как-то однажды вечером корову, плюнула на всё и целых полтора часа перед тем, как заснуть, читала. И ещё раз дала себе волю и, отказавшись от чаепития у Дашки, почти час днём, днём (!), сидя в палисаднике на перевёрнутом тазу, водружённом на чурбак, читала “Мачеху” Марии Халфиной. Но дела ждали всюду, куда ни глянь, и она, бедная, так за день уматывалась, что уж начала подумывать, а не снизойти ли до Лёнькиных просьб. Этот пройдоца просился обратно, обещая, что по возвращении завяжет, но она, понятно, не верила и потому к себе не пускала. Он по-прежнему жил у соседей, впроголодь и весь обносившись, спустил всё, что Томка ему справила, на выпивку. Он снова подрядился рыть и чистить колодцы. Правда, сразу же и пропивали они все вместе то, что удавалось заработать.

Глядя на это, Томка материлась, но иногда и с жалостью о нём думала. Обидно было за мужичка, потому как он стал ей близок за эти годы, она привыкла к его кандибоберам. Да и трудно даже такой громовой бабе, как Томка Чисто Чёрт, в хозяйстве без мужика. Он хоть и не особо старался, и пускай не больно-то ловко у него сельская работа выходила, а чаще вкривь и вкось, но с ним ей полегче было, да и не вредный он, и терпеливый. Сдерживало Томку одно важное обстоятельство. Лёнька ведь теперь так и будет к соседям нырять, только свистнут. Он и у неё, хоть она его в этом смысле в самом чёрном теле держала, всегда находил, с кем чекушечку разлить. А тут, когда эти, запойные, рядом, и говорить не о чем. Конечно, по первому времени Крот присмирееет, потому как наголодался там, обносился весь, намёрзся в не топленной толком избе, но, как только отогреется-откормится, то сразу же и за стаканом потянется. Так уж они устроены, и никому не под силу с этим справиться, даже Томке Чисто Чёрт с её разящей рукой, которая не дрогнет в нужный момент, и с её силой, для Лёньки едва ли не смертоносной.

Томка поглядывала через забор, но сама справлялась и с дровами, и с огородом, и со скотиной. Боялась она только того, что однажды, если увидит этого ушлёпка страдающим, то сердце не выдержит, ёкнет, проклятое, всепрощающее, и она примет его обратно. Понятно, что на время, потому что долго такое и она с её терпением не выдержит, но примет. Сама потом будет каяться, материть себя за это последними словами, плакать, жалеть... Дура!

К концу июля Лёнька дошёл до ручки. В больницу его на этот раз повезли, но не взяли. Обрато сам кое-как до дому добрался на попутках и слёг под старой яблоней на драной своей куртке уже почти что при смерти. Он весь “усох” окончательно, так, что штаны на нём едва держались завязанные на верёвочку. Даже ремень пропил.

Дружки его бросили. Он лежал на боку, спиной прислонившись к стволу наполовину засохшей антоновки, закрыв глаза, и уже готов был помереть. Лежал он так полдня, изредка слабо шевелился и голоса не подавал. Томка колола дрова для бани. Время от времени она поглядывала через сетку на Крота, но старалась — пореже. Глаза же то и дело, словно сами по себе, против её воли туда лупились, и внутри у бедной бабы всё начинало ворочаться. В Томке в эти минуты боролись такие противоречивые силы, что даже дрожь пробирала, и между лопатками мурашки начинали копошиться, да такие, что размером и количеством не уступили бы, наверно, аппликатору Кузнецова, который иногда спасал её от шейного хондроза и радикулита.

Терпела Томка, терпела, а потом, швырнув ведро и лопату, таки пошла к соседям. Пришлось обходить вокруг, через улицу, ведь между дворами она сама же наглухо отгородилась от них. Приволокла Лёньку, отощавшего до кожи и костей. Налила супу целую чашку, а он припал к краю и пьёт, пьёт... Захлёбывается, давится, потом, правда, стошнило его, но вторая попытка поесть оказалась куда удачней. Когда полчашки супа всё-таки в нём задержалось, Крот сразу отключился, заснув в самой неудобной позе, какую можно

было только себе представить. Проспал он сутки, а проснувшись, обречённо и с нескрываемым воодушевлением пал перед спасительницей на колени и поклонялся, что в сторону соседей больше никогда и ни при каких обстоятельствах даже не глянет.

Его униженный и вместе с тем пронзительно-покаянный до ломоты под левой Томкиной грудью вид, заставил её всё ж таки совершить над собой усилие и оставить его у себя, даже не огрев по затылку, хотя рука чесалась. Ни единому слову Лёньки Томка, конечно, не поверила, отправила его, замшелого и опустившегося до самой последней степени, в баню, но сама не пошла. Подумала, что и так будет с него пока, а там война план покажет.

Крот продержался две недели. Едва придя в себя, он кинулся помогать, целыми днями носился теперь по двору с вёдрами и прочим инвентарём, копая, окучивая, подметая, разгружая, распиливая, приколачивая, пытаясь загладить свою вину перед благодетельницей. Томка хоть вздохнула малость. Отдыха стало не намного больше, чем раньше, но напряжённость труда спала, время перераспределилось само собой по-иному. Вечером, после бани, у неё теперь ежедневно были законные час-полтора, чтобы почитать. Причём, Крот стал тоже проявлять “интерес”. Она всё хохотала над ним, просила отстать, но он настаивал. Сам толком ничего разглядеть в книжках не мог, но просил почитать вслух. Томка попыталась снова его послать куда подальше, но Лёнька настаивал. И где-то через неделю она уже читала рассказы Зоценко и они ухахатывались, а прочитав, переключились на Томкины самые любимые рассказы у Тэффи, и Лёнька, закуривая с мужиками на улице, теперь помалкивал относительно их совместного времяпрепровождения. Боялся, что засмеют, или, ещё чего хуже, обзовут, потом оно приклеится, а уж чего-чего, кликух ему и так хватало. Однако он не ожидал, даже предположить до того не мог, что это занятие, которым он “заинтересовался” поначалу, понятно, исключительно из меркантильного интересу, ему понравится. Телек он и раньше смотрел редко, боевики и новости, в основном, а читать, так сроду не читал, только газеты иногда, когда удавалось во времена бомжевания подобрать их на улице. Книги, по мнению Крота, были чем-то таким же бесполезным, как, к примеру, картины на стенах у Томки, или всякие там резные штуки из дерева, украшавшие фасады некоторых домов в Уздечкине. Он только однажды, когда ехал в поезде на заработки в Сибирь целую неделю, прочитал одну книжку. Одолжил её бригадир Валера, с которым он познакомился на вокзале. Этот самый Валера, бывший спецназовец, тогда сколотил неплохую дружину, в основном из только что понавших под сокращение на заводах мужиков, и вёз их на прииски. Один, правда, к поезду так и не явился, то ли опоздал, то ли передумал, а Крот, коротавший холодный первоапрельский день на вокзале, просто подвернулся в нужный момент. Романчик про колумбийскую мафию ему тогда понравился, особенно описания разборок со стрельбой и сцен, когда главный герой — Мигель — после них встречался в гостинице со своей подружкой, проституткой Изабеллой. По счастливым описаниям та дамочка очень напоминала Томку, а Лёнька, как и все мужики-доходяги, в женщинах более всего ценил мясистую плоть и крепкие формы.

Слушая, как читает вслух Томка, Лёнька поначалу боялся заснуть, а клонило нешуточно. Обиделась бы баба и выгнать могла в два счёта. По хозяйству он вкалывал с раннего утра и до прихода коров, днём почти не отдыхал и уставал страшно. Старался слушать внимательно и соображать по ходу чтения, а не просто пропускать мимо ушей, как планировал это делать поначалу. Потом Лёньке стало весело, потому как читала Томка хорошо, с интонациями, с комментариями, а это у неё получалось весело и “с перчиком”. Выбирала она тоже не абы что, а чего пошешнее или про любовь. Любовные переживания у Крота вызывали только зевоту, но он держался, терпел, потому что видел, как эти “охи-ахи-вздохи” нравятся Томке. На этом этапе чтения главное было — не задремать, а уж как начиналось описание того, чем вся эта канитель заканчивается, тут было не до сна. Крот оживлялся при описаниях сладострастных мгновений, даже просил Томку кое-где задержаться и перечитать. Она смеялась или твердила, что, мол,

кому чего, а плешивому гребень, но он настаивал, и она перечитывала, похикивая над тем, как расширялись и начинали поблёскивать его полуслепые глаза при упоминании об устах, персях и чреслах.

— Ведь соплёй прибьёшь, а туда ж! — ворчала Томка.

Самой читать вслух сначала не хотелось, но понравилось, стоило только начать. Оказалось, что так описанное в книге воспринимается совсем иначе. Она читала Лёньке в основном то, что сама прочитала за зиму, только вслух это было словно впервые. Как-то объёмнее выглядели герои, и разговоры их звучали живее, и представляла она себе их так явно, будто знала сто лет, прожив по-соседски как с Зинандревной или с Дашкой рядом целую вечность.

Объяснения, которые приходилось то и дело давать Лёньке по тексту, заводили её особенно. Он задавал вопросы, о которых она не задумывалась, и спрашивал про то, на что она почему-то внимания не обращала. Вникая в эти детали и мелочи, Томка вдруг открывала что-нибудь новенькое, и, начиная соображать, что там и как, приходила порой к совсем иным выводам, до которых при первом чтении доходила сама. Несколько раз они с Лёнькой даже спорили, аж до хрипоты, но он, в конце концов, всякий раз сдавался, оставляя за Томкой правоту и последнее слово, и, махнув рукой, уходил спать. Зато когда, дочитав рассказ О. Генри “Последний лист”, они вместе всплакнули над трагическими судьбами возлюбленных, к которым даже Лёнька проникся самыми тёплыми чувствами, то вместе отправились в Томкину мягкую постель. Тот вечер Лёнька и позже часто вспоминал, потому как такой нежной страсти и сам давно не испытывал, и с Томкиной стороны ни разу до того не ощущал.

И она тоже именно в тот вечер, засыпая, подумала, что пусть и напрасно, конечно, снова пустила к себе этого пьянчужку, но ради такого, даже одного-единственного случая, вполне можно простить себе эту досадную слабость.

Через две недели Лёнька снова зашил, после того как попал на поминки. Томка его выходила, справила кое-какую одежду и выпроводила из дому уже навсегда. Лимит её доверия ему был исчерпан до доньшка, и она, наконец, окончательно удостоверилась и смирилась с тем, что доживать век, как и большинству баб в деревне, ей придётся одной.

“Ну и ладно, — спокойно подумала Томка, закрывая последний раз за ним двери сеней. — Нам, русским бабам, доля такая — сама себе и мужик, и баба! Как наши бабки да матери после войны жили, так и нам, видать, придётся. И не гляди, что негу шас войны, а легче не стало. Мужиков и не стреляет никто, а они сами куда-то переводятся... Хрен знает, куда?!”

Куда, куда? Неизвестно. Известно только, что Крот подался в соседний район на какую-то шабашку, вроде как снова взялся рыть колодцы, недаром ведь Крот. Потом, спустя пару месяцев, односельчане донесли Томке, что его кто-то видел спящим на платформе железнодорожной станции, ну, а потом его и след пропал.

Девичник

По поводу избавления от Лёньки Томка даже закатила девичник. Собрала всех, с кем водила дружбу. Правда, некоторых пришлось пригласить, чтобы не обиделись, но и этим она была рада, потому что по большому счёту все бабы, поместившиеся за столом, поддержали Томку в её бесповоротном и отнюдь не сложном решении. Большинство были одиночками, по разным причинам, но то, что многие лишились мужиков из-за проклятущей выпивки, было, можно сказать, общим и неискоренимым злом и горем.

Томка наготовила картошки со свинойной, нажарила беляшей и открыла банку баклажанной икры. Капуста и огурцы на её столе были постоянно. Дашка притащила холодца, Алёна — блинов, Картохина испекла курник, а Лидка Махотина — пирожков с яблоками. Другие бабы тоже понатащили у кого чего было, но разбежались по домам быстрее, а эти засиделись.

Сидели до полуночи, осушили одну “беленькую” и бутылочку “Изабеллы”, хорошо пошёл под конец картохинский самогон, который Катерина

прятала в дровах, а муж её, Илюха, сколько ни искал, так и не сумел найти, хоть собственноручно перебрал поленицу и вдоль, и поперёк.

Веселье как-то сразу не задалось. Правда, когда народу поубавилось, стало уютней. Песни попели, поплакали, кой-чего порассказали про себя и про жизнь, поделились новостями и рецептами зимних заготовок. Томка спела свою любимую “Он меня на зорьке целовал...”, Алёна затянула было “Не искушай”, но не вытянула, и пение на этом завершили. Потом бабы стали допытываться, будто не знали, чем это они всю зиму занимались, и из-за чего Алёна от мужа получила такой звонкий нагоняй.

Томка сначала отмалчивалась, только Алёна пыталась что-то в своё оправдание щебетать, но бабы так хохотали, что Томке пришлось вступить в беседу:

— И ничего вы не понимаете, — строго осадила она баб, сверкнув для убедительности глазами на каждую. — Я сама тоже ей говорила сначала, что, мол, не надо мне этого, ведь сроду не читала, а под старость лет уж с ума не так сходят, а по другому поводу. А она меня сагитировала на это, ну, теперь я и не жалею — через это, может, я и выздоровела. То, знаете, бабы, чахнешь-чахнешь, уколы, таблетки и мажешься всякой дрянью, а хоть бы что. Как вступишь, и не отпускает и неделю, и другую, и третью... Помните, я ползими промаялась в прошлом году, и в позапрошлом также, ничего не брало, уж думала про инвалидность, собиралась ехать, чтобы похлопотать, а этой зимой — ничего, сяду в кресло, отпускает, а как зачитаюсь, и вовсе забываю, повернусь неловко, оно стрельнет, — напомним. Даже Крот, как пустила обратно, всё приставал: почитай да почитай. Я ему, мол, сам читать-то умеешь, или как?! Ишь, чего, говорю, удумал, поди не по твоей башке малахай-то, тут соображать надо, читаючи-то! А он пристаёт и пристаёт.

— Так он, может, из-за чего другого приставал, а? — захихикала Лидка. Остальные, даже Алёна, тоже скривились, переглянувшись, и подмигнули Махотиной, а она — им. Томка обиделась:

— Вот что вы за люди такие?! Всё б вам языками чесать, и всё про то самое.

— Ох, ох, раскудахталась, — завопила Лидка, — праведница, ага!
— Грешна, — чуть тише, чем до этого, отозвалась Томка. — Я за собой дело знаю, не сомневайтесь. Ну, чего было, то было, щас другое время пришло, и другие дела пошли. И я шаталась по дворам, кости мыла то тому, то другому. Я, бабы, не сплетничала, я была в курсе, вот, а это разница, просто её надо понимать. И опять же, спасибо Алёнке, как читать стала, не до того теперь. Ну, схожу... Вон, к Дашке хоть. Посудачим чего, а оно и концы в воду, мы ж — никому! Ни я, ни она!

— О, так вы и читайте вместе, — с хохотом предложила Картохина, закусывая блином. — Сядьте, коль вы такие теперь правильные, что вас хоть в пионеры принимай, и читайте романы. Может, они вас от всех болезней-то и вылечат.

— Ох и язва ты, Катерина! Мало тебя твой Илюха Синяя Борода лупил, больше надо было, да и щас не помешало б, — щёлкнула её по плечу Томка. — Так вот и знай, что я Дашке читать предлагала, только она на меня обиделась.

— А то! Ещё как, — вспомнив былую ссору, насупилась Дашка. — Она мне предлагала книжки читать вместо сериалов. Ну, не блажная ли?! Мне и сериал-то посмотреть некогда, а она про книжки. Да ещё упрекает, что я... Недалёкая, что ли, как сказать, не понимаю чего-то, вроде. Мол, в книжках умнее сказано, а сериал — для дур, таких, как я.

— А ты палку не перегибай! — решительно потребовала Томка. — Какая ты дура, если у меня уж какой год и рассаду выклянчить умудряешься, сколько надо, сама и сажать перестала; и молоко от моей коровы тебе вкуснее; и обомшелым банкам своим на заборе находишь оправдание, а я нюхаю и мух травлю всё лето. Это не ты дура, а я, видать, и про книжки я не то имела в виду, а что в сериалах этих, оно всё как на маскараде — ненастоящее. Ну, разве так бывает, как они показывают?! Всё приукрашенное да выдуманное. При параде все всегда, и даже помирают с причёсками, все

в сергах, браслетах и в туфлях на каблуках. Они и в городе так не ходят, как этих в сериалах наряжают. А разговаривают как?! Что куклы в мультиках. Раньше фильмы были какие: и поплачешь, и посмеёшься, и продолжения охота. Помните, про Клавдию и Будулая? На улицах ни единой души не было, если серия шла, всё бросали и глядели. Всё про жизнь по правде было, и деревня, ну, как деревня, точь-в-точь наша. А “Три тополя на Плющихе”?! Одна серия, не сериал, а какое кино жизненное, хорошее, про нас, про баб, про любовь, про деревенскую жизнь. И ведь всё по делу показывали: не то что щас, — из пустого в порожнее. Глядишь, глядишь, а там, что бабай, что малахай — одна зараза, и не разобрать, где какая. Вот то ли дело, в том фильме про Плющиху, как показали, что она за своим мужиком, за бакенщиком, притеснённая жила, без любви, без утешения, а в Москве встретила таксиста, и вроде как у них любовь, а она — нет, не пошла с ним на свиданку-то, к мужу вернулась, к детям. Да он и не узнал бы, этот её бакенщик, сухарь, браконьер, жадный до страсти, если б и было чего, а она всё равно — нет! Не надо, мол, этого. Любовь любовью, а раз замужем, должна себя соблюдать, хоть от мужика такого, от которого она слова доброго не слыхала, ласки не видела, и не большой грех гульнуть. А в нынешних фильмах-то чего?! Вот прошлой зимой, помните, сериал шёл про девку из села. Сказка и всего-то. Только что снимали в деревне, да, этого не отнять. Дома — чин чинком — из брёвен, даже с наличниками, и где они только такие щас нашли?! Бабы все в ситцевых платьях, а мужики — в майках и бриджах, как на пляже. Все такие чистенькие, наглаженные, причёсанные, ага... Мужики все трезвые, ага, все работают, вот только спросить бы — где?! Поля бурьяном поросли, фермы развалились, последних коров под нож пустили, когда ещё я на пенсию не вышла — вот она, наша настоящая жизнь, а не то, чего там понаиснимали. Или скажете, что я не права?!

Бабы молчали. Из тех, что сидели за столом, мужа я имела у двоих. Первый — Картохин Синяя Борода — в прошлом тракторист, считай уж седьмой год шёл, как он без работы остался. Ладно ещё дома, на хозяйстве Катерина его приспособила, чтоб пил пореже, правда, не сильно помогало, — что ни день, то хлебнёт где-нибудь, а на следующий — опохмеляется, так и живёт. Слава богу, что уже на пенсии, первый год, как вышел. Второй — Алёнин Санька, тоже тракторист, попивает не из-за того, что пьяница, а потому, что сидит больше чем по полгода без работы, вот от нечего делать и хлещет самогон.

Томка хмуро уставилась на подруг, убрала со стола опустевшую тарелку из-под квашеной капусты и как-то ласково и по-особенному понимающе улыбнулась:

— Чего задумались, фефёлы?! Такая она, наша жизнь. А-а-а, — махнула она рукой, — какая бы ни была, а другой не будет. Давайте гулять! Спойте, штоль, а? Не поминки.

Но никто не запел. Алёна занервничала, Картохина сосредоточенно жевала блин, а Дашка, та вообще отвернулась и уставилась в окно, хотя там ни шиша не было видно, давно стемнело. Лидка взялась ни с того, ни с сего указательным пальцем натирать побликшее обручальное колечко, которое, находясь уже год во вдовьем состоянии, носила только потому, что не получалось снять. Она рассеянно тарачилась по сторонам, точно не знала, как бы поделкатнее поступить с хозяйкой, которая сначала режет в морду правду-матку так, что в позвоночнике, и то скрежет, а потом требует веселиться. Томка почувала неловкость, выскочила в сени, вроде как за капустой, постояла там с минутку, пораздумала и вернулась. Без капусты. Она хмыкнула, ещё раз обвела взглядом всех и предложила:

— А чего мы, а?! Чего растерялись? Приуныли... Хотите я и вам прочитаю?!

Бабы уставились на неё, потом переглянулись и уставились снова. Молчание говорило о многом, о чём никто из них всё равно не решился бы сказать вслух, а общее недоумение свидетельствовало о степени потрясения ещё красноречивее. Картохина даже перестала жевать, а у Лидки в ладони вдруг оказалось кольцо, непонятно каким образом слетевшее с пальца. Томка

схватила книжку, лежавшую в стопке на подоконнике сверху, и открыла лагуад. Глаза женщин стали одинаково круглыми и странно блестели. Алёна при этом подняла брови и крутила головой в стороны, казалось, до самых пределов подвижности её шеи. Дашка, наоборот, вся насушилась, скривив рот.

— "...Она спала с открытыми глазами. Вдыхала травяные запахи леса, по ее мягкому длинному горлу прокатывался утробный катыш, и опять лениво двигались ее широкие косицы: хруп-хруп. По-родному, уютно пахло дымом близкого пожара. Шевеля во сне большими добрыми ушами, Рогуля чуяла звуки дальней деревни и спала спокойно, и ей снились отрывочные легкие сны. Она не знала, когда это было, время не двигалось для неё. Может быть, это было, а может, все это уже есть или будет — ей всё равно. Потому что она не знала, что такое время. Наверно, это была весна..." — прочитала Томка с выражением, потом замолкла и уставилась на баб. — Ну?!

Те разом выдохнули и дружно и быстро заморгали одинаковыми глазами. Алёна хитро улыбалась. Томка, не сводя с неё глаз, спрашивала беззвучно, но настойчиво: "Ну, и чего мне теперь?! Что делать-то?!".

Она в жизни не попадала в подобную неловкую и глупую ситуацию, и в глубине души уже начинала сожалеть о своей опрометчивой и, скорее всего, напрасной решительности.

— Чё-то я не поняла, — вдруг подала крайне озабоченный голос Дашка, — эт ты про кого читала-то?

Томка моргнула всем лицом, тяжело вздохнула и выдала:

— Про Рогулю! Корова такая в этой повести.

— А-а-а... — обрадовалась почему-то Дашка и вся просияла. — Вот я думаю, неужель про корову так написали? Или мне послышалось.

— А чего непонятного-то? — вмешалась Картохина, взяв с тарелки последний блин и подцепив вилкой кусок холодца. — И ведь как хорошо и подоброму про коровушку... Душа таёт.

— Хорошо-о-о-о, — согласилась Дашка, а с ней вместе и Лидка кивнула, поддакивая, — про человека так не скажут, а тут про корову.

— Вот! — радостно всем телом подскочила на табуретке Томка. — Про корову, а как! Будто про дитя родное, или ещё про близкого кого... Я эту повесть два раза прочитала, вот и закладки заложила, где понравилось. Ох и хороша, только бабу жалко, померла, голубушка, Катерина, а мужик этот, Иван, один с ребятишками остался. И маленьких много, один вообще в люльке.

— Да ты чо?! — в один срывающийся голос выдохнули бабы.

— Да, рожала, бедная, рожала она их, чуть не каждый год. Двойнёвые мальчишки даже были. Самый маленький, что в люльке, Ванька. И ещё на ферме работала. Так вот, как мы, домой прибежит покормить младенчика и снова бегом на ферму, и так раза по три за день. А дом-то у них без удобств, ещё и воды натаскает, и перестирает всё в тазу руками, и наварить же им надо на столько-то ртов... Загнулась она, бабы, понятно, раньше срока.

Они молчали и с обречённым пониманием глядели на Томку. Та тоже замолчала, только рука тяжело легла на обложку книги, которую она бережно, почтительно и осторожно поставила на стол и прислонила к простенку, так, как ставят в угол икону или портрет горячо любимого и дорогого человека.

— А мужик-то чего, пил у ней? — со слезами в голосе спросила Лидка.

— Не сказать, чтоб прямо до запоев доходило, но попивал, стервец, — ответила Томка. — Он вообще какой-то непутёвый и без вышивки, но по хозяйству вроде помогал, и работал, правда, зарабатывала она поболее его, семью кормила она. Мать её с ними жила, за детьми глядела и малышкой нянчила, а мужик-то недотёпа, хоть и работающий. И выпить за компанию не отказывался. По пьяному делу самовары растерял, которые в селюпо вёз, платить пришлось, а потом ещё на заработки куда-то подался, а ей, бедолаге, и сенокос, и хозяйство, и дети, ночи бессонные, и работа адская... Дуры ж мы, бабоньки. Зачем она его отпустила?! Сама виновата. Сказала бы: "Нет, не поедешь никуда. Где родился, там и сгодился. Всё!" А она, как мы, всё на себе, на себе... Пока здоровья хватало и детей родить, и дом тащить, и таку-у-у-щую ораву кормить, тянула, но не вечная же.

— Ой, бабы, — зарыдала вдруг Дашка, повалившись на стол. — О-о-ой, чего...

— Чего?! — не поняла Томка.

— О-о-о-й, — продолжала лить слёзы прямо в тарелку Дашка, — за что? За что-о-о-о?! О-о-о-й, бабы-ы-ы...

— Вот она где, правда-то! — подняла вверх указательный палец Томка. — Это не сериал вам какой-нибудь про принцесс. Это про нас, несчастных, надорванных русских баб, которые и за мужиками живут, а сами, что лошади ломовые — всё на нас.

— Ну-ка, дай-ка книжку, — протянула руку Картохина и, взяв, прочитала: — “Привычное дело”. Василий Белов. Ага, Белов, значит, вроде слышала... Дай-ка мне на денёк-другой, читаю.

— А потом мне, — потребовала Катерина. — Я и не знала, что так про деревню написано бывает. Я-то со школы ничего больше и не читала. Думала, что в книжках только про городских пишут. Про нас-то чего писать: про картошку што ли, или про сараи — неинтересно, а гляньте-ка, как оно тут... Прям роман. Про меня будто, и я сроду, как эта баба за своим мужиком, маялась: и на ферме, в сарае надо, и сварить суп на ужин, и белишко простирнуть, и у ребят уроки проверить, и... О-о-о-й, — хлюпяя носом, залилась она плачем, прикрывая лицо узловатыми короткими пальцами.

Алёна кинулась к вешалке у двери, достала из сумки пузырьёк и большим ковшом зачерпнула воды из ведра. Открыв склянку, она вылила всё её содержимое в ковш и помешала ложкой.

— Пейте, — протянула его бабам. — Пейте, говорю. А то щас плачете, а потом за сердце хвататься начнёте, а мне вам помощь оказывай. Да ещё в район вези вас ночью.

Дашка макнулась в воду прямо с носом и выхлебала почти всё, понемногу досталось Лидке с Катериной. Томка воздержалась, решив, что обойдётся своей валерианкой, если что. Алёна схватила кухонный полотенчик и принялась обмахивать им чересчур впечатлительных слушательниц. Они сморкались и тёрли красные мокрые глаза чем попало, поправляли платки.

Дашка смотрела прямо перед собой, изредка моргая просветлёнными до такой степени глазами, что Томка вспомнила о животворящей силе чтения книг, о которой читала как-то случайно ещё зимой, и уже не помнила, в какой именно книжке. Она всегда считала соседку глуповатой и нечувствительной. Дашка не могла взять в толк, что за замашки у Томки, и не одобряла ни её стремления к украшательству дома и двора, ни желания тратить деньги на красивую посуду и картины, ни, тем более, не видела никакой необходимости тащить в дом библиотеку Зинандревны. Именно она, Дашка, предложила свалить в сарай или в чулан всё это добро и забыть про него. Она никогда не рассказывала Томке о своих чувствах, переживаниях, и Томка была уверена, что у этой недалёкой, простой как сковородка, соседки и в душе всё так же просто и с чувствами тоже, что у коровы или свиньи. Томка уж было пожалела о своём опрометчивом поступке, что схватила первую попавшуюся под руку книжку, не подумав, чем это может кончиться. Она теперь была абсолютно уверена, что бабы, порывав вот так, уж точно больше ни одну книгу не откроют и с ещё большим рвением продолжают смотреть сериалы, где про другую жизнь, про других людей и про другие проблемы. Однако Томка ошибалась. Не прошло и пяти минут, как Картохина снова заговорила:

— Ладно, хватит, — решительно махнув головой, она твёрдой рукой взялась за бутылку с мутноватым самогоном, — выпьем, давайте, и ещё прочитаем. Баба та, в книжке, померла, и Царствие ей, бедняжке, Небесное, а мы ещё живы. И, слава тебе, Господи, скришим, как можем. А выпьем давайте-ка за этого писателя. Спасибо ему, что написал про таких, как мы, а то ведь помрём, и никто не узнает, как жили-выживали, как мытарились. И мужики у нас были не лучше того, что в этой книжке, но раз уж нам здоровья хватило всё выдюжить и не помереть, как Катерине той, так значит, поживём ещё пока. Вот и за эту нашу жизнь, какая б она ни была, тоже выпить надо.

Они выпили, доели холодец и беляши, и Томка поставила разогревать остывшую картошку. Когда подогрели, разлили оставшийся самогон, допили и закусили огурцами с картошкой. Провожая их, на крыльце Томка спросила тихонько у Алёны:

— Чего это они, а? Я уж думала, что после такого и слышать про книжки не станут, а они очередь читать установили.

Алёна пожала плечами:

— Они, Тамара Исаевна, и так всю жизнь где-то на обочине: на грязной работе, без удобств, с мужьями пьющими... Они красивую жизнь только в сериалах и видели. Поэтому-то для них увидеть свою жизнь, пусть и такую, но со стороны, глазами писателя, да ещё описанную в книге, понимаете, как будто о себе узнать, что и они тоже люди, что и о них можно вот так взять и всем рассказать. Они же считали, что недостойны, ну, вроде второго сорта, что ли, а сегодня узнали, что — нет, не второго, и не двадцать второго, и ничем не хуже других. Почему тогда и о них не рассказать, а?! Между прочим, по повести Белова “Привычное дело” фильм снят. Правда, его редко показывают по телевизору.

— Ну, ещё бы! — не удивилась Томка. — Нам же всё красиво должно быть, чтоб смотрели и восхищались, грязи-то и забот всяких и дома хватает. Телек для того и включают, чтобы чего-нибудь такого-этакого поглядеть. Я зимой пару раз “Модный приговор” смотрела. Скажу тебе, передача хорошая, и женщины там даже такие, как я, бывают, и всех приодели и причёски понакрутили, посмотришь, прямо ягодки. Придёт туда такая вся замученная, кое-как одетая, и три волосинки на голове, а в конце — разуй глаза, не узнаешь, — такие становятся красотулечки... Я б и то туда сходила, пускай хоть раз в жизни нарядят, как положено, причешут и сфотографируют. На стену повесила б этот портрет и любовалась на старости лет, вот, мол, какая была! Как ни крути, а без малахая нету и бабая. На фотографии надо хорошо выглядеть, чтоб не стыдно было людям показать и самой в радость посмотреть, а то нам ведь красоту наводит некогда, да и незачем тут. Для кого?!

Книжная карусель

Когда книжку про Катерину с Иваном все по кругу прочитали, захотелось бабам посудачить. Собрались снова у Томки. Она испекла сырников, поставила на стол сметаны, вишневого варенья и топлёного масла. Дашка принесла салат из морковки с яблоками и кабачками, Катерина пожарила курицу, Алёна — пирожки с яйцами и луком, а Лидка расстаралась аж до того, что наварила кукурузы каждому по две и нафаршировала перца мясом с рисом. Беседовали недолго, всё больше ели, времени в это время и так никуда не хватает, снова немножко поплакали, но только теперь не по себе, любимым, а по Катерине, которая в книжке померла. Думали-думали, Дашка даже предложила письмом написать тому писателю, чтобы он в следующий раз так же замечательно написал про них, про деревню, про жизнь, только с хорошим концом. Пусть и не больно весело будет, но чтоб никто не умирал.

— Вот если б мужик помер, то ещё ничего, — рассуждала она. — С матерью дети в деревне не пропадут: хозяйство, огород, картошка всегда есть, — прокормятся, а вот как в этой книжке... Ну, не знаю я, хоть замечна ей и нашлась, Нюшка эта, а всё одно — мачеха, не мать. Детей вон по детским домам развёз да по чужим людям этот Иван, так чего ж хорошего?! А он радуется, сбагрил, значит, и ладно. Жалко там всех, и её, и детей, и мать её старуху — тяжело ей с таким выводком. Ведь говорила она ей: “Остановитесь!” Не родите, мол, больше, хватит, этих прокормила, на ноги поставить надо, а она, Катерина, только смеялась, заполошная.

Томка слушала рассуждения баб не без удовольствия. Зимой, когда сама читала запоем, думала иногда, что как-то оно... Глупо не глупо, а бесполезно, что ли, так время терять в деревне. Зимой пряталась от посторонних глаз, а теперь видела, что раз и других оно задело за живое, так значит, есть в и этом толк. Они ели, пили чай, спорили, много чего наговорили, но сошлись

на одном — читать и неплохо оно совсем, только некогда, где время-то взять? И тут Алёнина светлая голова выручила. Она предложила так:

— Тамара Исаевна уже втянулась и почти каждый день читает. Для себя. Зимой читает каждый день. Вы приходите к ней, вяжите, штопайте, чешите пух, прядите... Короче, занимайтесь своими делами, а она вам вслух читать будет.

Идея понравилась. Дашка так вообще решила, что и сама иногда читать может вслух, ведь Томке-то тяжело будет всё время одной читать. Решили, что начнут собираться с осени, как время появится, а зимой — чаще, хоть пару раз в неделю, а всё ж неплохо уже. Разошлись бабы прямо перед порами, каждая в свою сторону. Прихватили по книжке, так, на случай, если вдруг какая свободная минутка появится. Картохина взяла “Не стреляйте белых лебедей”, Дашка — “Бесприданницу”, Лидка выбрала тоненькую книжечку “Гранатовый браслет”, а Алёна спрятала в сумке в складках свёрнутого халата “Тёмные аллеи”. Томка немало удивилась этому, и, решив записывать в следующий раз, кто что взял, подумала завести что-то вроде формуляров, как в библиотеке.

“А иначе нельзя, — думала она, — точно потом недосчитаешься. Вон та же Дашка, безалаберная, потеряет или забудет где, ищи потом. Да и на Лидку надежи мало, она хоть и баба вроде деловая, а рассеянная бывает. Пошла раз в магазин и кулёк пшена на прилавке оставила, потом обратно бежала за ним через всю деревню, живёт-то на другом конце”.

Утром, не успев Томка подоёт и выгнать пастись корову, как услышала стук. Она высунулась мощным торсом в настезь открытое окно кухни, едва втиснувшись в его скромную по сравнению с ней ширину. Это пожаловала Лидка, которая спросила, нет ли чего-нибудь современного, чтобы почитать.

— А где книжка? — вопросом на вопрос ответила Томка. — Пока не сдашь, другую не дам!

— Ну, ты изва, Томка! — обиделась Лидка. — За коровой вечером пойду и занесу.

— Да ладно, ладно, шучу, — разулыбалась Томка. — На, бери, — Распутин. “Последний срок” прочитай и “Деньги для Марии”. Про нас прямо, про сельских. Там, ой и смешно, и слёзно, и по-всякому... Бабка помирает, помирает, а бог не забирает. И вот к ней соседка пришла, такая же — два понедельника жить осталось, да и то, если повезёт. Вот они сидят, болтают... Ой, шас, погоди, прочитаю тебе.

Она быстро полистала книжку и, найдя нужное место, с ещё большим воодушевлением продолжила:

— Эта, которая пришла, говорит, ты, мол, меня... Вот, “ты меня не жди, сподобляйся”. Я, говорит, ещё побегаю, “...и ты ко мне не присусеживайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму. Мы с ним, глядишь, ишо ребеночка родим”.

Лидка расхохоталась, а Томка дальше прочитала:

— А та, чуть не покойница, ей, которая тоже того гляди вот-вот туда, на небеса, отвечает: “Ты, девка, свою родилку-то, однако, поране меня сняла да сушить повесила”.

Лидка вся тряслась от смеха, облокотившись на забор, и уже вытирала слёзы, нахлынувшие от хохота. А Томка и рада стараться:

— А эта, которая зашла к ней, и отвечает, что у неё другая есть, лучше старой. “Я её летось у городской у одной на ягоды выменяла. ...Так что, ты, мол, старуня, теперечи со мной не равняйся”.

Это было любимое Томкино место в этой повести. Она прочитала его раз двадцать и насмеялась вдоволь, потом ещё Алёне зачитывала, и запомнила его, как анекдот. Лидка ухватила книжку и помчалась за своей Пеструхой, довольная так, словно выиграла в лотерею телевизор или новый матрац.

Томку её визит обрадовал. Проводив Лидку, она осталась стоять у окна и всё повторяла про себя, что надо обязательно завести формуляры. Она почему-то была уверена, что Лидке понравится книга, и уже в предвкушении

приятного разговора с той после прочтения вдруг завопила на всю кухню в голос, словно её тут окружали люди:

— Ох, бабы, хорошо-то как!

Томка и сама не поняла, с чего это она вдруг так расчувствовалась, но её переполняли какие-то непонятные, но приятные чувства, даже радость и, главное, ощущение своей нужности, своего предназначения для чего-то действительно важного, всем просто необходимого, душевного и правильного.

Вечером, едва Томка вышла из сарая с ведром молока, как услышала, что её зовут из-з ворот. Это была Картохина. Она пришла, чтобы спросить книжку для своей снохи, которая увидела у неё “Лебедей”. У снохи детей пока не народилось, свадьба была в июне, и время иногда выдавалось свободное, особенно, когда муж, младший Катеринин сын Лёшка, уезжал на вахту. Он работал на буровой, две недели через две.

Томка нашла “Любовь в седьмом вагоне” не сразу. Долго искала, но так и нашла, потому как точно помнила, что такая была и она сама хотела её прочитать. В процессе поисков решила, что зимой надо будет заняться тем, что переписать все книжки и наклеить бумажки со списками на коробки, чтобы полечге было в поисках, ведь коробки тяжёлые, да и рыться в них времени нету.

“Вот ведь как, — соображала Томка по ходу дела. — Образование моё на пенсии пригодилось. Не довелось в библиотеке поработать долго, не было мне там места, а вот тут — пожалста! Дай, Томка, то, дай это... Да на здоровье, мои вы хорошие! Мне ж оно, девчата, только в радость. Не жалел бабай хорошим людям малахай, коль кому сгодился, он и поделился”.

С того дня пошла у Томки другая жизнь. Шёл народ к ней понемногу, брали то, что хотели, если находилось, а то и просто просили дать чего-нибудь на своё усмотрение. Она советовала, и, главное, как бы ни была занята, время всегда находилось. С подругами собирались вместе в основном после бани. Сплетничали, не без того, да и куда без этого, но всё же разговор оборачивался и на книжки тоже. Томка заранее подбирала рассказы для чтения. Чаще небольшие и смешные или про любовь, очень всем нравились и про деревню. Бабы пили чай, вязали, а она читала.

Санька Алёнин поуспокоился, видя, что не только жена, а и другие тётки чего-то там у Томки “заседают”. Перестал ей докучать упрёками, тем более, что предъявить ей было нечего, на хозяйстве это никак не сказывалось. Шустрить она умела, беспорядка и сама не терпела, вставала рано, успевала всё, а читала по вечерам, пока он футбол или хоккей смотрел, или когда пьяный спал. Поскольку и то, и другое и третье с Саней случалось почти постоянно, время у Алёны находилось даже для толстых романов.

Со свекровью ей повезло, она смотрела за детьми, и, зная слабости сына, старалась всем, чем только могла, помочь снохе. Она уважала Алёну за образованность, чистоплотность и терпимость к Санькиным слабостям. К тому же кормилицей в доме тоже чаще была Алёна. Санька и на сезонных работах получал куда меньше, чем жена в амбулатории, да ещё регулярно. Но деревня есть деревня, дел полно, поэтому, даже несмотря на участие свекрови, конечно, к Томке на посиделки Алёна попадала не всякий раз.

Наблюдая, как идёт разговор, она думала о том, что, наверно, не зря затеяли они с Томкой в ту зиму, когда началось у неё чтение, эти беседы между собой. Вроде началось-то с малого, поболтали и забыли, а оно вон как обернулось. Она видела, как гордится Томка тем, что в её избе собираются люди, которые сидели до того каждый в своём углу. Их необъяснимо, можно сказать, случайно, но приятно и так легко объединило чтение, и благодатно и как-то естественно-просто заполнило собой пустоту в их бытийном немудрёном пространстве. Выкраивая крупицы времени из каждодневного своего напряжённого распорядка дел, они умудрились прочитывать хоть одну-две страницы, обычно уже лёжа в постели, засыпая и борясь со сном. Книжки словно лечили этих навсегда уставших и измученных трудной жизнью женщин, даря, как чистейшую воду, живительное и умиротворяющее чувство чтения, как нечто, что сродни божественному откровению. Алёна удивлялась неутолённой жажде познания смыслов и событий, которые случались

в жизни героев, а то и в собственной жизни этих женщин, изголодавшихся по чему-то истинному.

Томкина изба становилась в деревне чем-то вроде избы-читальни. Вечерами тянулись к её двору со всех трёх улиц женщины, чтобы послушать чтение. Шли, прихрамывая, припадая на больные ноги, несли пакетики с вязанием и штопкой, чтобы не сидеть без дела. И слушали, слушали... Потом говорили и всё ещё обсуждали что-то, уже расходясь по темноте, несмотря на усталость, накопившуюся за день, радостные.

А Томка... А что Томка?! Она и вовсе похорошела, перестала думать, что она одинокая баба на пенсии, что ей нечем себя развлечь, кроме телевизора, и нечем больше заняться, кроме стирки и уборки, и что собираться можно исключительно ради того, чтобы посплетничать. Её изба превратилась в деревне не просто в читальню или подобие библиотеки, а стала чем-то вроде клуба по интересам, местом для общения. То раз в неделю, а то и два народ собирался, и каждой хозяйке уже не хватало этого, если по какой-то причине приходилось пропустить очередные читательские посиделки.

Всё дело в том, что, когда не стало в деревне ни клуба, ни школы, ни больницы, когда остались почти одни старики, время здесь словно остановилось. Каждый день был похож на предыдущий, скука одолевала не потому, что нечем заняться, работы как раз всегда невпроворот. Тошнота накатывала не внутренняя, а внешняя, какая бывает от неприятного запаха или до крайности надоевшей обстановки, когда уже не можешь смотреть на то, что окружает, и, главное, понимаешь, что ничего-то другого у тебя уже не будет.

Пошли со временем в Томкину читальню и мужики. Она читала им книжки о войне, о героизме и подвигах, а потом, словно невзначай, переключалась на рассказы Чехова о горьких пьяницах, недотёпах, смешных происшествиях... И они слушали.

“Не стреляйте белых лебедей” читали дважды, про мужика, такого же, как они, точь-в-точь, который и сам-то по себе неплох вовсе, и работает, а всё у него не слава богу — семья в нужде, и даже жена, страдалница, называет его “бедоносец”.

Томке хотелось достучаться до их заиндевевших душ, пробить хоть крохотную брешь в спящем сознании, достать до совести или хоть какого-то, пусть, может, даже случайного озарения, чтобы увидели и поняли всю жуть своего пропавшего бытия, которое они, пьянствующие и погибающие через эту беду, уже себе по-другому и не представляли.

Бабы слушали, иногда брали книжки с собой. Наслушавшись Томкиного чтения про любовь и высокие отношения, бывало, и сами почитывали кое-что. Книги, правда, иногда возвращали, так и не прочитав, но, случалось и наоборот, что зачитывали какую-нибудь книжку до того, что сглаживались уголки страниц и переплёт начинал рваться.

Томке было особенно приятно, когда кто-то забегал к ней вдруг перед коровами, шагая за ними мимо её дома на большую поляну, куда пригонял их пастух. Забегали, чтобы рассказать, что книжка понравилась, и просили ещё. Это случалось, когда у них не было мочи дожидаться субботнего вечера и общего чтения... В эти моменты Томке открывалась в людях какая-то особенная человеческая красота, которой не было заметно в будни, заполненные хлопотами. Порой, почитав, бабы становились какими-то по-особенному мудрыми и чистыми. Они выглядели так, словно познали какой-то самый сокровенный смысл своей же собственной жизни, доселе недоступный. Книга открывала другие миры и новых людей, объясняла поступки чужие и собственные, помогала переносить ежедневные тяготы будней.

Да и сама Томка теперь читала уже не как раньше. Прежде это было развлечением, приятным времяпрепровождением или обязанностью по отношению к другим, когда кто-то приходил послушать. Теперь чтение стало для неё не просто отдушиной и способом отвлечься от мрачных мыслей об одиночестве. Чтение стало частью её жизни, очень важной и необходимой, такой же, как прежде, к примеру, общение или стремление к красоте.

Она не понимала, как столько лет — всю жизнь — она спокойно обходилась без этого. Нет, конечно, прожитое и пережитое не казалось ей

блеклой копией без тех эмоций, которые она переживала, открывая книгу и каждый раз погружаясь в новый для себя мир. Без героев, из-за которых, она, бывало, и плакала, без часов чтения, от которых её жизнь наполнялась тем, что она сама для себя обозначила, как “толк”, Томкино существование казалось ей малоинтересным.

— Есть, пить, мыться в бане, хозяйство водить, — это, понятно, необходимость, — рассуждала она в кругу пришедших на читательские посиделки. — На то она и деревня, что не даст посидеть, а всё требует: “Делай то, делай это! Только и сможешь отказаться, когда помрёшь, а пока жив, хоть убейся, а делай!”. Без этого тут пропадёшь, но ведь и от работы, бабы, загниешься всё равно рано или поздно, так хоть не дураком помрёшь-то, будешь знать, как люди жили, чем жили, понимать через них своё нутро.

Книжки Томка делила на толковые и бестолковые. К первым она относилась те, от которых её сердце расцветало и ей хотелось перечитывать любимые моменты бесконечно. Для Томки постепенно они становились чуть не дороже картин на стенах её избы и хрусталя и сервизов в серванте. Ей хотелось, чтобы эти удивительные, радостные, умные и тёплые книги стояли у неё в большой комнате на самых видных местах, как всегда стояли милые её сердцу сувениры, статуэтки из стекла и накрахмаленные нежнейшие салфетки ажурной вязки. Ей мечталось теперь, что однажды она достанет со шкафа и вытащит из него все коробки с книгами, вынет их и, проветрив на улице, как это делала Зинадревна, смахнув с них пыль, поставит с любовью на полки в переднем углу избы. Не ради того, чтобы все видели, или чтобы похвастаться, а потому что теперь она узнала истинную цену и значение книг, и не было никаких сил видеть, как они, уложенные в коробки, маются в темноте и духоте шкафа. Больше всего на свете Томке хотелось теперь дать им воздуха и света, чтобы они дышали и сами давали тот свет, который был скрыт в них.

Денег ни на полки, ни на книжный шкаф не было, но остались стеллажи в доме покойной Зинадревны. Томка теперь часто подумывала о том, чтобы забрать их, ведь соседям они точно были ни к чему, но, понятно, они не отдадут просто так, обязательно потребуют денег или самогона, и дать-то можно, да и не жалко, вот только за-ради чего? Она поделилась с бабами во время посиделок, и те согласились, что и деньги эти пропащие всё равно пропьют, и они, добытые кровью и потом, пойдут прахом, а уж самогон им тем более давать нельзя, потому как это просто будет преступлением. К тому же Дашка сообразила (вот ведь какая — недалёкая, как ни глянь, а надо ж тебе, сообразила!), что, когда тех вселяли в этот дом, стеллажи им достались всё равно бесплатно.

— Дом есть дом, бабы, — рассуждала она. — Крыша, стены и пол. Они бы его купили, если бы никаких стеллажей в нём и в помине не было, ведь так?! Ну, к примеру, если бы эти, крохоборы, родня Зинадревны, взяли бы и всё подчистую вывезли. Просто повезло этим алкоголикам, что и стеллажи им просто так на голову вместе с домом свалились, и кровать и кухонный стол, потому как наследники от него отказались. Они-то, эти горе-братья-алкоголики приехали с одними узелками, ничегошеньки не привезли ни из мебели, ни из посуды, у них же всё пропито. У них на этих полках посуда стоит из-под бормотухи и банки из-под консервов. Надо с Петром Данилычем поговорить, а потом собрание собрать и вынести решение, чтобы изъять у этих и передать Томке, в пользование, опять же, для общественного пользования. Ведь она не для себя просит, а для всех.

На следующий день пошли в контору. Петр Данилыч выслушал, посмеялся сначала, а потом и говорит:

— У вас, получается, стихийный очаг культуры образовался. Кто бы мог подумать?! Если бы я знал, что так бывает, отстоял бы библиотеку...

Тут Томку как подорвало:

— А ты что ж, выходит, мог?! — вся залилась она алой краской и заржала так, что у Дашки, которая к ней ближе всех оказалась, что-то сначала щёлкнуло в правом ухе, а потом во всей голове. — Ведь я сколько ходила,

просила... В райцентр ездила на свои деньги, по кабинетам моталась, а ты слово мог замолвить, а сам смолчал?! Да кто ты после этого, а?

Бабы тоже зашумели, но председатель, как и всегда, нашёл чем оправдаться:

— Ну, вы и меня поймите, я же человек подневольный, приказы и из района, и из области шлют, попробуй, не выполни. Той осенью дела были поважнее — фураж заготовливали, картошку убирали, капусту, тёлочек сдавали... Да, и вообще из-за библиотеки и так столько было головной боли, что до сих пор вспоминать неохота.

Томку колотила мелкая дрожь бессильного возмущения и горького сожаления о напрасно потраченных усилиях. Она ноги чуть не до колен стёрла тогда, обивая пороги начальников по культуре села. Понятно, что имела свой, меркантильный интерес, прежде всего, чтобы доработать до пенсии, а потом, уж оформившись, ещё хоть пару годков посидеть в тепле на полставки библиотекаря с зарплатой в три с половиной тысячи. Они-то ведь тоже на дороге не валяются, на хлеб, сахар, рис и заварку было бы с лихвой.

И если бы прямо в кабинете у неё не случился сердечный приступ, она бы точно задумала председателя. Но ему и на этот раз повезло. Бабы её привели в чувства, председатель позвонил в амбулаторию, примчалась Алёна, сделала укол... Томка раздышалась. Но стоило только отойти от приступа, как она ринулась на председателя взрывной волной такой силы, что он понял сразу — на этот раз меры придётся принимать, причём в полной мере, а то эта Чисто Чёрт, не зря её так называют, разнесёт к чёртовой матери ему весь кабинет. Да и царапало что-то внутри, ведь тогда библиотеку и впрямь можно было отстоять, но он не захотел взять на себя ответственность и канитель, которую она предполагала. Он пошёл на попятную:

— Ещё бы мужиков за собой на ваши посиделки затаскивали почаще, может, они бы хоть через раз мимо рта стаканы проносили, — начал он, пытаясь показать этим свою заинтересованность в поднятом с такой нешуточной силой вопросе.

— А мы и зовём, — заорала Картохина не своим голосом, — только, поди, сам попробуй их туда зазвать. Да они скорей подохнут, чем слушать пойдут.

— Я им и про войну читала, и про лётчика одного, героя, и про мужика-бедоносца, вот, прям, как они, точь-в-точь такого, думала, что хоть задумаются, обормоты... Нет, видать, всё! Им если только наливать перед тем, как начать читать, тогда они не то, что пойдут, — побегут. Да чего там, ползут! А так, чтобы на трезвую голову слушать — ни за что, хоть пришиби! Их же давно прибить пора — одна выпивка на уме.

Петр Данилыч пожал плечами и, решив вернуть разговор в прежнее русло, предложил:

— Эх, подруги боевые, вот что я вам скажу. Изъять у братьев Мажириных стеллажи покойной ныне Зинаиды Андреевны нельзя. Они это имущество приобрели вместе с домом, значит, оно им и принадлежит.

— Неправда твоя, — возмутилась Дашка. — Они могли дом и без мебели кушать.

— Могли, — согласился председатель. — Но они его приобрели с мебелью. Помочь я вам не могу, тут по-другому придётся действовать. С ними лучше по этому вопросу договориться.

— Да они ж им и даром не нужны, у них же там бутылки пустые стоят, — завопила Томка, но председатель на этот раз не дал ей высказаться.

— Да ясно это! Но, поймите, женщины, с ними в этом вопросе только одним способом можно действовать, и по-хорошему.

— Че-е-е-го-о-о?! — соскочила со своего места Дашка. — По-хорошему?! Это мы все, а больше всех Томка, хотим хорошее дело сделать, а они кому чего хорошего сделали?! Себя пропилили, и стеллажи пропьют, или сожгут ещё, чего доброго, как Томкину баню.

Председатель из-под очков сердито смотрел на баб, а они решительно и мрачно уставились на него, и выражение их лиц не сулило ни ему, ни Мажириным ничего хорошего.

— Ладно, — наконец поднялся он из своего кресла. — У меня в гараже стоит второй год старый, но полированный и весь целёхонький шифоньер. Вытащили из дому, когда ремонт делали. Знаете, и выкинуть жалко, полировка-то советская, нигде ни трещинки, а уже не современно, мебели другие пошли. Жена выбрала шкаф с зеркалом, с полочками, а шифоньер — долой! Уговорю её обменять его на стеллажи. И с соседями Тамары сам переговорю.

Божья роса

В отсутствии деловой хватки Петра Данилыча упрекнуть было невозможно. Он таки уговорил Томкиных соседей на обмен, прибавив к шифоньеру два списанных стула из конторы, потому что братья упирались до последнего, пытаясь доказать, что он изначально предлагал им неравнозначный обмен.

Ставить им вышивку было бы слишком жирно, так решил председатель. Осмотрев убогость обстановки и заметив, что последняя табуретка на кухне сломана, предложил стулья. Они с радостью согласились, но ещё некоторое время артачились, мол, надо бы, начальник, три стула всё-таки. Данилыч настаивал на своём, лишь пообещал как-нибудь выписать им за их же деньги новый штакетник. Впрочем, он и так выписывал древесный лом на заборы всем желающим, семьсот рублей за кубометр. Братьям он пообещал полкубометра. Когда-нибудь. Они согласились.

Утром следующего дня во дворе у Томки собрался народ. Было воскресенье, день выдался пасмурный, но без ветра и дождя, а главное, тёплый. Бабы схватились отмывать стеллажи, которые притащили ещё вчера от соседки Катеринин Илья и Алёнин Санька.

Мужики под руководством Томки, при участии Дашки и Лидки, делали перестановку в избе. Это было суматошно, очень громко и канительно. Томка, конечно, заранее всё измерила, потом ещё многократно перемеряла, прикидывая, что да как, но, когда дошло до дела, выяснилось, что перестановка мебели по её плану, который в процессе замеров сам собой выстроился в её голове, не выходит. Она думала установить стеллажи в спальне, и, вроде, хоть и впритык, но получалось по её прикидкам, однако после того, как кровать переставили, вынесли в кухню цветок в кадке и затащили первый стеллаж, оказалось, что второй всё же не влезает. Не хватало всего каких-то восемь сантиметров.

Тогда Санька сбегал за инструментом, и они с Ильёй отпилили сбоку поперёк всех полок сколько нужно, сверху донизу, и прикрутили болтами на металлических уголках боковую стенку стеллажа заново. После этого он вошёл в отведённое ему пространство как ключ в замок. Скорее, даже влип, потому что даже указательный палец Илья не сумел протиснуть между ним и стеной. Через пару часов, когда все книжки общими усилиями были проветрены на улице, Томка уже раскладывала их по своему усмотрению.

К обеду только работа закончилась, все спешно разбежались по домам. Томка, страсть как устала, рухнула без сил на диван. Задремала. Сон её был сродни обмороку, она даже не перевернулась на спину, как это обычно бывало, потому как, если полежать с полчаса на одном боку, у неё начинало болеть в другом. Проснувшись, вернее, точно выйдя из комы, она сначала чуть не задохнулась. Перехватило дыхание, в груди стало тяжело и колко. Томка осторожно приподнялась, села и потихоньку раздышавшись, снова легла. У неё так и раньше бывало в самые напряжённые дни, а этот выдался очень канительным и волнительным. Она лежала, смотрела на свою комнату, думала о том, что хорошо, что мужики придумали отпилить часть стеллажа и впили всё-таки их оба в спальню. В её милой сердцу горнице ничего не нарушилось, только пол был затоптан. С картин на неё игриво смотрели красавицы девятнадцатого века, и особенный прищур незнакомки казался ей в эту минуту ничем иным, как таинственным разговором именно с ней.

Эта девушка всегда задевала Томку. Что-то непонятное чувствовала она, глядя на эту картину. И вроде бы, ну, что в ней такого?! Томка думала так: “Сидит девка зимой в саях и смотрит на кого-то, поди, на жениха, или так, на случайного прохожего какого. Красивая и одета как барыня, а она и есть барыня. Каков бабай, таков и малахай, чего там”.

А всё ж что-то не оставляло её в покое, картина цепляла чем-то необъяснимым, не отпущала. Хотелось смотреть, смотреть и думать об этой барышне, узнать про неё — кто она, где и как жила, кто родители, замужем или пока ждёт своего часа, сколько ей лет? Алёна сказала только, что этот художник изобразил свою дочь, но Томке хотелось понять её, поговорить с ней мечталось, как с близкой знакомой, а она для неё такой и была.

Этот невидимый диалог продолжался уже несколько лет. Стоило прилечь на диван, как она чувствовала на себе этот пронизательный пытливый взгляд спокойных, не по годам мудрых, пронзительных глаз, и начиналась их беседа. Томка задавала вопросы, придумывала за неё ответы, спорила с ней, рассказывала про своих дочек, давала ей советы относительно поведения с мужчинами. Ей казалось, что эта барышня всё понимает, всё знает, и про неё тоже, и однажды она даже спросила сама у неё совета и получила его. Он откуда-то свалился в её голову, она так и не уразумела, как это произошло, но совет оказался толковым и правильным. С тех пор Томка к ней не обращалась, только, когда болела, рассказывала ей про то, что, как и где беспокоит. Та слушала. Молча слушала, и вроде бы что-то хотела то ли спросить, то ли посоветовать, но ничего ни разу так и не сказала, зато улыбнулась. И у Томки на душе от этого стало легче как-то.

Она ругала себя за эти разговоры, так ведь и за сумасшедшую примут, если кто невзначай узнает. Но кто и как узнает-то?! Томку удивляло, что её дружба с этой барышней была хоть и совсем иного толка, не такая, как допустим, с Дашкой, Катериной или Лидкой, но не отличалась, по большому счёту, от дружбы с ними, даже была куда задушевней и доверительнее. Ей она могла рассказать всё, потому как она всё видела и понимала так, как и сама Томка, а с бабами держаться приходилось настороже, не позволяя себе развязывать язык на полную катушку. Ведь так бывало, что переврут, за-разы, если чего не поймут, своего напридумывают и ещё сболтнут кому ненароком, а ты потом оправдывайся да сама себя кори, что всю душу перед ними высветила.

Когда у Томки возникало желание поделиться переживаниями, мыслями или просто посплетничать, она звала на чай подруг. Могла, если выдавался свободный часок, и сама, набрав в карманы конфет, печенья или прихватив свёрточки любимой, собственными руками сотворённой яблочной пастилы, без предупрежденья нагрянуть в гости. Это в деревне в порядке вещей, главное, не попасть во время большой стирки или семейного скандала. В первом случае точно придётся помогать, чтобы побыстрее закончить, и сесть за стол, но это дело настолько неблагодарное, что оно того не стоило. Стирать придётся в любом случае полдня, в деревне по-другому не бывает, а за столом если и удастся посидеть, то на скорую руку, как попало, да ещё устав так, что будет уже не до разговоров. В случае скандала, конечно, повезёт больше, особенно если появишься вовремя. Пока муж и жена, Катерина с Ильёй, к примеру, просто ругаются, так это очень даже хорошо, можно же и своё словечко вставить, стороннему наблюдателю всегда виднее, где прорехи. Ну, а когда уже она его веником, а он на неё с кулаками, тут Томке равных не было. Не раз и не два она выручала Катерину, потому как совладать с Ильёй она, единственная из баб в деревне, могла. Он Томку даже побаивался. Мало того, что огреет не слабее мужика, да ещё в гневе может что-нибудь такое сотворить, что потом вся деревня смеяться будет.

Так, пару лет назад, однажды в середине лета, когда Илья на сенокос собирался, она его схватила и мордой в таз с синькой макнула, он чуть не захлебнулся. Катерина развела эти чернила, чтобы в побелку добавить, потолок подбелить хотела на кухне и в сенцах, из-за этого с Ильёй и разругались, он сказал, что нечего, мол. Не хотелось ему канитель разводиться по пустяковому поводу. Она ругаться начала, а он так и сказал, надо тебе, сама и двигай столы, а у меня, мол, спина болит, и вообще сенокос. Морда синяя у него потом неделю почти что оставалась, хоть хорони. Ну, а волосы седые и, главное, усы и борода, посинели до такой степени, что Крот с Санькой обозвали его Синей Бородой. И, как назло, кликуха так плотно на него “се-ла”, что и после выбривания под ноль не забылась.

А во второй раз Томка учудила ещё хлеще. Она Синюю Бороду, а к тому времени все уж и забыли, что его когда-то Ильёй звали, посадила в кадку с размачивающимся куриным помётом. Катерина хотела этим ценным удобрением грядки полить, чтобы улучшить урожай, целый год собирала, выгребая добро из курятника, и в бочку таскала, там ведер двенадцать набралось, а может, и того больше. Из-за чего они тогда повздорили, в это Томка и вникать не стала. Зашла во двор, увидела, что он на Катерину с кочергой, а она от него в сени, ну, и... Одно слово, Чисто Чёрт! Воняло после этой процедуры от Илюхи хуже, чем от скунса-чемпиона. Штаны он в речке неделю потом полоскал, и Катерину гонял на мостки три раза, чтобы отстирать запах, — ничего не помогло, хоть и висели на заборе до конца лета, так из них куриный отработанный дух и не выветрился. Сам он, бедовый, в речке отмачивался с хозяйственным мылом, а потом ещё фиалковое пришлось купить, кое-как, на следующий день только к вечеру вонь с него сошла. Чуть не убил он после этого Томку. Она, шельма, сначала у себя во дворе забаррикадировалась, а после, когда Илюха через забор полез, разоздравши новое трико, забралась, ну не зря же Чисто Чёрт, на крышу сарая. И ведь в другое время у неё и голова бы закружилась, и колени бы с трудом сгибались и болели бы, а тут хоть бы что. Вскарабкалась по лестнице как горная лань и ещё ведро с помоями прихватила. Стоит там с ведром наготове и глядит на него сверху. А его всего ярость раздражает, бьёт аж до озноба, а что с ней сделаешь?! Такая стерва отпетая, прям хулиганка, преступница местная, бандитка недорезанная. Схватил вилы Илюха, что возле коровьего стойла стояли и предназначались для удаления навоза из-под коровы, орёт ей угрозы, а сделать ничего не может. Ей же, гадоке, хоть бы что. Вот баба-чёрт, хоть плюнь в глаза, скажет, божья роса.

А Томка ведро обеими руками на весу держит и кричит ему:

— Щас я тебя, поганца, ещё и помоями оболью, если со двора не уйдёшь, головорез. И как бедная Катька терпит тебя, маньяка такого, я б на её месте давно тебя, душегуба, отравила, и рука бы у меня не дрогнула! Башку оторвала бы тебе, десять лет отсидела бы, зато потом вышла и жила бы спокойно, горя не знала. А помои у меня жирные, я сегодня сало как раз топил, посуду перемыла и в ведро слила. И ещё разбавила прокисшей лапшой. Да капуста вспучилась, ядрёная, я из-под неё рассол тоже сюда слила. Вот щас тебе всю эту окрошку на голову и вылью.

Побегал, побегал Синяя Борода вокруг сарая, поматерился и, закинув в приступе досадного бессилия вилы в огород, ушёл домой. Только и убытку было Томке, что сломал, паршивец, два крайних на грядке куста баклажанов да лук примял черенком вил. А она посидела на крыше ещё с полчаса, окрестности пообозревала, спокойненько слезла с крыши, стащила за собой ведро и пошла, как ни в чём не бывало, поросят кормить. Только приговаривала всё время:

— Вот ведь каков! Дурному бабаю и вдарь по малахаю — не большой грех. Эх, ладно, хоть Катерине помогла.

Тем и закончилось в тот раз. Но с Илюхой Томка такие разборки устраивала частенько, так что он уже давно точил на неё зуб. И Томка про это знала, но не поддавалась панике и Илюхины угрозы игнорировала.

Он решительно требовал у Катерины перестать ходить к этой толстомясой гадине и привечать её у себя, и разборки у них случались и по этой причине тоже, и нередко. Но Томка всегда являлась сама, причём словно чуяла, приходила раз от разу как нельзя вовремя. Получал от неё Илья столько, что уже и забыл сколько. Эта хитрая bestия, несмотря на всю свою неповоротливость, умудрялась ловко уворачиваться от всех действий, которые он пытался против неё применить. И с лопатой на Томку ходил, и со штакетиной, и, было дело, даже с топором, но всё без толку. Так Синяя Борода Томку и не одолел, только через неё, окаянную, кликуху приобрёл, которая ему сильно против души была и здорово досаждала.

...С осени и зимой бабы стали чаще собираться. Два, а то и три раза в неделю — по пятницам, воскресеньям и ещё в среду, если получалось. В субботу Томку не беспокоили — банный день, святое.

В апреле читать стало некогда, началась, как водится, уборка перед Пасхой. С первых дней месяца Томка по заведённому обычаю и по собственной устоявшейся традиции снова вверх тормашками подняла весь дом, выскребла, вычистила, побелила, перестирала, перекрахмалила всё, что можно было мыть, белить, стирать и крахмалить. Но стоило окнам Томкиной избы засверкать жемчужным блеском, как повелительная весна выгнала из дому, заставив ещё и во дворе наводить порядок после того, как чуть ли не ползими пришлось просидеть в кресле в вынужденном положении. И тут она накинулась на работу, взбудораженная беспорядком и упадком, в который пришёл двор. И лишь спустя две недели безудержных многообразных трудов, окинув долгим придирчивым взглядом свои “хоромы” и “территории”, Томка продолжительно и удовлетворённо выдохнула, беззвучными губами сама себе объявив благодарность за утомительную многодневную работу, проделанную на всю её могучую неподкупную в этом смысле совесть. Она устала мертвецки. Всё тело болело, от натруженных мышц до головы, которая после трудной работы в наклон всегда раскалывалась, казалось, на мелкие кусочки, и начинала болеть, стоило только повернуться неловко или наклониться.

Май пролетел хоть временами и со слезами, словно во сне, нескладном, беспокойном, но добром и причудливом. В самом начале июня, как-то вечером Томка пошла к Картохойной. На этот раз обошлось — Ильи дома не оказалось. Катерина пекла оладьи, которыми они и побаловались за чаем. Томка позвала подругу приходиться и завтра вечером, а назавтра как раз было воскресенье, чтобы чайку погонять, повязать, ну и, понятно, почитать. Катерина пообещала. Потом Томка зашла к Лидке, на обратном пути — к Алёне, к Дашке, которая тоже только-только из бани с красной мордой выползла, еле волоча ноги от усталости. Но ни назавтра, ни в среду, ни в следующую за ней пятницу бабам собраться не удалось. Дела не пускали, мужья ворчали, а Томка сидела одна и ждала.

В следующее воскресенье она ещё раз обошла всех, с тем же разговором, но всё повторилось. Тогда она набрала книг и понесла бабам сама. Раздав Алёне — “Казус Кукоцкого”, Дашке — “Унесённые ветром”, Катерине — “Эмму”, ну а Лидке, к которой на этот раз Томка зашла к последней, досталась “Угрюм-река”.

На неделе к Томке снова никто не пожаловал. Бабы сажали огороды, гоняли коров пастись и приучали молодой скот, подреший за зиму к свободному выпулу. Кроме того, посаженные на яйца гуси начали выводить птенцов, а проклёв выдался трудным, вывод гусят требовал постоянного наблюдения. Выхаживать крошечных слабеньких гусят ведь ох, как непросто. С ними приходилось нянчиться, а у Алёны ещё и вороны заклевали гусёнка, когда двухнедельных выпустила попасть на травке возле дома под присмотром старой гусыни. Та, конечно, билась за малыша, но вороны всё ж таки добрались до него.

Однако беда одна не ходит. Санька, которого всегда в это время брал на посевную фермер из соседнего села, запил — ни с того, ни с сего. Словно с цепи сорвался мужик. Всю вторую половину зимы терпел, капли самогона в рот не взял, трактор готовил к работе, а тут, прям, как сглазили. На Алёне, расстроенной и осунувшейся, лица не было. Ведь у мужиков только и заработок на посевной да на уборке, а тут такое. Раньше Санька выпивал во время простоев, зимой бывало, по осени — после всех дел, ну, край, летом между сенокосом и уборочной, но так, чтобы в самую страду — такого не бывало.

Томка подумала, подумала, и перестала ходить по дворам. Если удавалось выкроить полчаса, читала для себя, лёжа на диване, ну, а если от работы продохнуть некогда было, то и сама, бывало, книжки на целые недели забрасывала. Одна Дашка заходила то чайку пошить, когда неохота было дома ради одной-двух чашек канителиться, а то и просто посидеть вместе, отдохнуть минуточку да перебраться новостями.

— Ты чего ж, читала ли? — первым делом спрашивала Томка.

— Ой, — отмахивалась от неё Дашка, как от назойливой мухи. — Когда?! Постирушка вон вторую неделю валяется в бане, не могу собраться,

а ты говоришь... Зима была, была и читальня твоя, а как весна пришла, всё, сворачивай читалку да дуё дела делать. Ты сама, поди, не успеваешь?

— Ага! Под подушкой книжка тоже вторую неделю дожидается, эт что-бы, как лягу, значит, то обязательно почитать, но куда там! У меня ещё и курятник с зимы не вычищен, и в палисаднике цветы не посажены. Ой, ничё не успеваю, Дашка, ничё.

— И я — ничё! Старые мы с тобой, видать, сделались совсем, а? Раньше-то как было, помнишь, Крот твой чего говорил? Что мы как электровеники. Теперь электричество наше вышло, ага. Метёлки мы старые, драные, вот и вся нам названия.

— Погоди, Дашка, поживём ещё, — толкала её в бок Томка с хохотом. — Мы-то с тобой ясное дело — метёлки, да вот только ого-го какие! Пометём ещё! Всю зиму читали, читали, а и с одной полки не осилили книжки. Вот осенью снова, как работа большая сойдёт, возьму веник из чилижника, новый, колючий, пойду по дворам, соберу народ, и будем читать. И читать сама снова буду, лишь бы слушали, и выдавать, если кто попросит... Кому как удобно. Глядишь, может, поменяется чего, а? Ну, хуже-то точно не будет.